

Первый том



Вступление. 1853 год

Детство. 1854 и 1855 годы

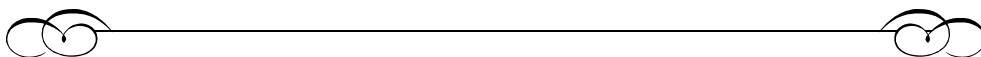


— |

| —

— |

| —



Вступление. 1853 год

17-го мая. Давно уже я собираюсь писать свои записки и несколько раз даже принимался за это дело, но, видно, всегда принимался не в добрый час или просто недоставало терпения, но желание <заниматься> ими овладело при самом начале исполнения.

Всегда останавливал меня вопрос, с чего начать. Мне казалось странным ни с того ни с сего писать свои записки и начать дневник свой с какого-нибудь ничем не замечательного дня, — я же думал: вот дождусь какого-нибудь особенного, замечательного происшествия или переворота в моей жизни и тогда начну писать уже каждый день. Но случаи эти не приходили, намерение мое все-таки не исполнялось. Теперь решаюсь поступить иначе: я определил себе положительно цель, для которой принимаюсь писать.

Подробности жизни всякого человека, иногда не заключающие в себе ничего особенно любопытного для современников, получают значение и цену в глазах близких, а в особенности детей. Я сам помню, с каким любопытством расспрашивал я своего отца о его прошедшем и как просил его записать кое-что из виденного и слышанного им. Мне также Бог дал детей, и мне приятно думать, что если Богу угодно будет сохранить их, то записки мои живее напоминать им станут того, кто так любил их; быть может, также кто-либо из них захочет писать и свой дневник, и тогда как любопытно будет третьему поколению читать живую историю общественной и семейной жизни их отцов.

В записках моих я намерен отмечать все, что замечательного мною видится и слышится, и прилагать в виде прибавлений разные документы.

Не знаю, что ожидает меня в будущем и что угодно будет провидению из меня сделать, но уже в настоящем моем положении я поставлен в возможность многое видеть и слышать такого, что имеет не один только интерес современный, а зрелый возраст и некоторая опытность, приобретенная мною на длительной службе, доставляет мне возможность судить о многом здраво, и, во всяком случае, мнения мои будут любопытны для потомства как мнения современника. На меня всегда производило большое впечатление суждение летописца о современном ему событии, поэтому я всегда предпочитаю читать историю по ее источникам.

Вот вкратце цель моего дневника, но я даю себе при этом слово не стеснять ни мою искренность и не рисоваться в записках моих для потомства; одно

действительно похвальное свойство, которое я в себе чувствую и которое во мне рождено — это любовь к п р а в д е, я ненавижу ложь, в какой бы форме она ни проявлялась, мне Бог дал какой-то инстинкт, который бессознательно во мне действует, возбуждая какое-то отвращение от всего, что не есть голая правда. С другой стороны, я убежден, что словами никого не надуешь и ложь обнаружится, как ее ни скрывай; хуже будет, если потомство при чтении записок, остановясь на каком-нибудь сомнительном месте, скажет с насмешливой улыбкой: «Ну, здесь, кажется, дедушка прихвастнул». Знаю также, что и самому хочется покрасоваться перед самим собою, и даже трудно от этого удержаться, но я обещаю себе быть осторожным. Все, что будет касаться до меня лично, буду писать откровенно, без обиняков, не скрывая ни хорошего, ни дурного, потому что пишу записки для себя и при жизни не намерен показывать никому то, что любопытно только для меня; на детей своих надеюсь, что ежели эти записки попадутся в руки им, то они не посмеются над «срамотой» отца их. Я не намерен также писать свою исповедь, а потому не стану говорить о тех делах своих, которые свойственны всякому человеку и повествование о которых не представляет вовсе ничего назидательного и любопытного. Надеюсь, что чистосердечный рассказ мой принесет детям моим пользу.

Прежде чем приступить к дневнику, опишу в главных чертах мои д е т с т в о, о т р о ч е с т в о и ю н о с т ь; при этом останавливаюсь только на тех подробностях, которые остались в моей памяти. У меня сохранилось много разных писем и записок разных времен, пересмотрю все прошедшее. Очень желал бы иметь довольно характера и последовательности, чтобы в точности исполнить все.

Попробую. Дай Бог.

Детство

Родился я в Москве в 1822-м году, октября 26-го, и в память святого великомученика Дмитрия назван Дмитрием. Еще не отнят я был от груди, как отца моего назначили гражданским губернатором в Калугу, и мать моя переехала туда вслед за ним со всем семейством. Не могу определительно сказать, сколько нас было тогда в живых детей. Знаю, что матушка всего рождала 15 раз; моложе меня были трое, которые родились в Калуге: Юрий, Федор и Владимир. Последние двое умерли в младенческом возрасте. Помнить я себя начинаю в Калуге, в большом губернаторском доме. Детские наши были в третьем этаже, недалеко от спальни матушки; в среднем этаже были парадные комнаты и кабинет батюшки, а также спальня и кабинет дедушки Нелединского-Мелецкого¹, который приехал вместе с маменькой доживать век свой в Калугу. Из первых впечатлений детства остались мне всего <более> памятными, во-первых: доброта матушки и постоянная ее заботливость о нас; нянюшка у нас была Секлетиния Васильевна, добрейшая женщина, принадлежащая к тому типу русских нянюшек, которые уже исчезают, оставляя взамен каких-то полуобразованных мадам с претензиями и непомерными капризами. Нянька, как водится, баловала

Детство

нас потихоньку от матушки, но помню, что это нам нимало не мешало обожать матушку. Хотя я и не совершенно ясно помню лицо матушки, но общее очертание ее припоминаю. Особенно живо представляется она мне в черном, накинутом на кофту салопе, когда утром приходила она в детскую присутствовать при нашем пробуждении. Я вообще, сколько себя помню, был весьма ласковым ребенком: за матушкой бегал я в течение дня как собачонка, но не помню, чтобы она отличала кого-нибудь из нас. Странно, что когда припоминаю свое детство, то мне представляются такие картины, которые сами в себе ничего особенного не заключали, и не могу понять, почему они так глубже врезались в мою память, нежели другие.

Матушка моя скончалась в 1827-м² году, когда мне было 5 лет. В эти годы уже сознание ребенка довольно развито, и не мудрено, что я довольно хорошо помню обстоятельства ее кончины, но я, кроме того, живо вспоминаю случаи за несколько лет до ее кончины, так, например: пребывание императрицы Марии Федоровны³ в Калуге, когда мы все ей представлялись в доме купца Зозина, где императрица останавливалась: мы — все дети — были поставлены в ряд по росту. Нас было тогда 11 человек. Меньший, Юрий, был на руках у кормилицы. Императрица нас всех целовала, а также и кормилицу брата Юрия, которая после этого три дня не мыла лица своего. Помню также, с какой церемонией проведено было тело императрицы Елизаветы Алексеевны через Калугу. Народ вез колесницу, и гроб поставлен был в соборе.

Праздники, которые давал батюшка, также живо остались в моей памяти. Особенно хорошо помню большой маскарад в городском доме накануне Нового года и несколько иллюминаций в загородном доме. Калужская губерния была подчинена тогда витебскому генерал-губернатору князю Н. Н. Хованскому. Он приходился матушке родным дядей по матери. По случаю его приезда всегда бывали праздники — и семейные, и общественные. Помню, однажды разгадывали шараду: восторг, во второй половине шарады мы все участвовали; я был наряжен сбитенщиком. Под конец пели куплеты, сочиненные Василием Пушкиным⁴.

Хотя недолго суждено мне было жить в родительском доме и принимать первые впечатления от самого чистого источника — м а т е р и н с к о г о с е р д ц а, не менее того, эти немногие годы самого первого моего младенчества имели самое благодетельное влияние на всю мою будущность. Все зародыши добрых начал принимаются человеком только в самом детском его возрасте, а для того, чтобы они принимались плодотворно, необходимо, чтобы все окружающее ребенка было преисполнено тою чистою любовью, которая живет только в добрых и истинно христианских семьях.

Матушка моя была женщина необыкновенная — это был, по словам всех ее знавших, совершенный ангел. Память о ней еще до сих пор сохранилась глубоко в Калуге. Я не встречал ни одного человека, который бы не говорил о ней с неподдельным умилением. Она до такой степени была любима и уважаема всеми в Калуге, что молва о ней дошла и до людей, никогда не видавших ее. Всякий из нас, ее детей, имел к тому множество доказательств. Понятно, что такая женщина одним своим нравственным влиянием и за короткое время мог-

ла положить доброе основание в детях, которых любила всей своей ангельской душой. В моей памяти все время до кончины матушки представляется каким-то светлым сновидением, под впечатлением которого я рос и развивался.

В детстве я, хотя был здоров вообще, но нервы мои были, по-видимому, слабы. Это я заключил из следующего факта, который глубоко врезался мне на память. Губернаторский дом, в котором мы жили, находился вблизи присутственных мест⁵, и перед домом был городской бульвар, на котором мы обыкновенно гуляли. Утром, перед рекрутским присутствием, собиралось иногда много народу, матери и жены рекрутов, по обыкновению, выли и голосили изо всей мочи. Эта печальная музыка до того раздражала мои нервы, что я плакал целый день и никто не мог успокоить меня. Никому не хотел объявить настоящую причину моих слез, сам не знаю почему. Мне было как-то стыдно. Однажды, когда матушка и няня очень ко мне приставали, чтобы я сказал им, о чем я плачу, я объявил им, что у меня болят зубы. Сейчас послали за каким-то губернским дантистом и стали меня уговаривать позволить выдернуть больной зуб. Чтобы придать мне куражу, помню, что матушка велела прежде себе вытащить зуб, потом посадила меня и со мной сделали ту же операцию. Несмотря на то, слезы мои унялись только тогда, когда мы переехали в загородный дом. Помню также, что было время, когда я постоянно просыпался среди ночи и ревел во все горло. Это происходило частью от страшных снов, частью, и, мне кажется, главным образом, оттого, что мне было очень весело, когда в ожидании моих криков начнут около меня суетиться и хлопотать матушка, нянька и проч. От меня не отходят, а мне и весело. Батюшка, быв занят службой, не много нами занимался, хотя, однако, он сам прихаживал к нам в детскую и мы бывали у него в кабинете.

Дедушка тоже очень любил нас, он редко выходил из своей комнаты, потому что был уже стар и страдал водянкою в ногах. Как теперь его помню в больших вольтеровских креслах с книгою в руках. Он или сам читал, или заставлял себе читать соборного протодиакона, который должен был ему кричать почти каждое слово в ухо. В дни наших именин и рождения обыкновенно приносили к дедушке в комнату целую игрушечную лавку, которая оставалась у него три дня. В течение сих трех дней именинник имел право каждое утро приходить в эту комнату и выбирать себе новую игрушку, но с тем, чтобы, выбрав раз, не переменять свой выбор. Так как мои именины и рождение приходились в один день, то я пользовался этим правом в течение шести дней и получал шесть игрушек.

Так как при нас, кроме нянек, не было никого, то и детские игры не подчинялись никаким особенным правилам и не смешивались с учением; помню также, что я часто наряжался попом, устраивал себе нечто наподобие кадила⁶ и представлял служение в церкви, читая разные молитвы: такого рода игру матушка нам не возбраняла, не видя в том никакого кощунства, через это я выучивал много молитв наизусть, присутствовал с большим вниманием при богослужении и получил о нем довольно подробное понятие, прежде чем мне открылся весь тайный и глубокий смысл его. Справедливо говорит Х о м я к о в в одной статье своей «О воспитании»⁷, что душевный склад ребенка, который

Детство

привык сопровождать своих родителей в церковь по праздникам и по воскресеньям, а иногда и в будни, значительно разнится от душевного склада ребенка, которого родители не знают других празднеств, кроме театра, бала и картежных вечеров. В доме нашем соблюдались более или менее обряды, предписываемые православною церковью, а потому мы все нечувствительно приняли в себя те религиозные начала, которые остались в нас на всю жизнь и которые я только теперь понимаю.

В памяти моей живо сохранились последние дни матушки. В конце января 1827-го года, все мы — дети — были больны, у Юрия был круп, а остальные — ветряною оспою. Она не выходила из детской день и ночь и вследствие усталости, а также простуды сама 2-го февраля занемогла горячкою, которая скоро приняла сильное развитие. Выписан был из Москвы доктор Генекен и, сколько могу припомнить, по его совету, поставлены были больной пиявки, сделана горячая ванна, вследствие чего она сильно ослабела и положение ее сделалось безнадежным.

В то же время дедушка Нелединский сильно занемог припадками водяной болезни. В начале болезни матушки он каждый день потихоньку <по несколько> раз приходил к ней в комнату, но потом делать этого не мог и не вставал со своего кресла. Матушке никто о болезни дедушки не говорил, и она сама о нем ничего не спрашивала, как будто предчувствуя то, что от нее скрывают. 13-го февраля дедушка скончался. Нам об этом ничего не сказали, боясь, чтобы мы не проболтались матушке, к которой нас приводили каждый вечер. На другой день, 15-го^a февраля, скончалась и матушка, но я при последних минутах ее не присутствовал, ибо спал и нас — меньших детей — не будили, а старшие окружали ее постель. Утром мне сказали о случившемся и повели наверх в спальню, где тело матушки уже покоилось на кушетке. Не помню, что я тогда ощущал и как выражал скорбь свою, но, вероятно, впечатление было сильно, ибо я как теперь вижу все подробности сей плачевной сцены. В одно время две смерти поразили бедного батюшку, положение его было ужасно. Как перенес он это несчастье — действительно непонятно. На ежедневных панихидах, разумеется, был весь город. Смерть матушки поразила всех ее знавших. Плач о ней был непритворный, и в день похорон стечение народу было невероятное. Я имел несколько раз случай впоследствии слышать от людей совершенно посторонних, что все классы людей единодушно проливали слезы. Еще недавно, в бытность мою в Калуге, какая-то мещанка, узнав, что я сын Аграфены Юрьевны, залилась горячими слезами, вспоминая о ней. Тело матушки похоронено было в Калуге, в Лаврентьевском монастыре, вместе с дедом.

Убитый горем батюшка не знал, как ему с нами быть и кому нас поручить. Самому же заниматься нами ему было совершенно невозможно. Старшая сестра, Катенька, взята была Самаринными, вторая, Софинька, отдана тетушке Елене Ивановне, которая жила тогда у графини С. В. Паниной. Братья Андрей и Василий отосланы были вскоре, сколько мне помнится, в Харьков к тетушке Щербатовой, а остальные остались дома, под непосредственной ко-

^a Так в тексте.

мандой добрейшей Екатерины Яковлевны, которая еще жила при матушке и помогала ей учить и надзирать над детьми. Таким образом, вскоре после кончины матушки семейство наше разбрелось, и с тех пор нам не суждено было ни разу всем до единого собраться в одно время под родительский кров.

К нам начали поступать гувернеры, хотя перед сим были у старших братьев несколько немцев и французов, но я их мало помню, ибо был слишком мал. В первый раз подпал я под власть господина Винси, француза. Поступил он к нам на следующих условиях: во-первых — жалование, сколько — не знаю; второе — каждый день бутылка пива и хлеб и каждую неделю по два фунта сыра и штофу водки; третье — право не обедать дома и пользоваться воскресеньем.

Это был толстый господин, вероятно, служивший некогда барабанщиком или сапером в наполеоновской армии и взятый в плен в 12-м году. Это предположение я основываю на том, что он угощал нас в дни именин Наполеона и в дни его блистательных побед, и, напротив, крепко бивал при воспоминании неудач французской армии. Чему он нас учил, я, правда, не помню; кажется, ровно ничему, хотя постоянно находил случай беспощадно бить нас линейкой. Часто запирали нас в черный чулан и вообще неистовствовали безнаказанно, ибо ничего до батюшки не доходило, потому что Винси нам решительно объявил, что ежели кто-нибудь из нас осмелится хоть слово сказать о нем не только папеньке, но и Екатерине Яковлевне, то он того забьет линейкой до смерти, а ежели будет молчать — то он нас будет каждый день кормить лакомствами. И действительно, каждый день мы после обедни ходили с ним гулять и постоянно заходили в какой-то дом, где жила какая-то женщина, которую он называл своей женой, хотя она была русская. Женщину эту он при нас неоднократно бивал и раз даже пустил в нее стулом, но за что именно — не припомню. Кроме того, часто во время прогулок заходили мы в Гостиный двор, в колониальные лавки⁸, где Винси позволял нам есть что угодно и сколько угодно. Не думаю, чтобы он платил за что-либо купцам, а вероятно, просто брал силой в пользу губернаторских детей. Несмотря на все меры, принятые Винси, Екатерина Яковлевна скоро выдала его папеньке, и вследствие сего француз был выгнан из дому, поколотив нас перед отъездом на порядках. До сих пор не могу понять страшное зверство этого человека, как мог он равнодушно обращаться так с детьми и так умышленно развращать их, как он это делал. Я даже думаю, что он это делал из политического убеждения — француза на это хватит.

Кто у нас был после Винси: кажется, поступил добрый и вечной памяти достойный Егор Иванович Бот — честный немец, который мог служить настоящим противоядием скверному Винси. Не могу с достоверностью сказать, откуда г-н Бот был урожден по религиозным своим убеждениям; он, по вероятности, принадлежал к секте гернгутеров⁹, и как он часто говаривал сам о Сарептских колониях, то легко может быть, что он и сам был тамошний уроженец, но каким образом он попал в Калугу, мне решительно неизвестно. Он был приставлен к нам троим — брату Сергею, брату Михаилу и ко мне. Брат Юрий был еще на руках няньки, а братья Андрей и Василий были отосланы в Харьков. Первым хорошим впечатлением моего детства я много обязан Боту. Это было добрейшее создание, которое успело бескорыстной любовью сильно

Детство

привязать нас к себе. Я любил его всем детским сердцем своим, не находя в нем ни малейшего недостатка. Я считал его красавцем и даже теперь помню, как некогда ласкал его, как целовал его руки и плешивую голову. Не могу понять, чем мог он возбудить во мне такое живое к себе чувство; особенных ласк с его стороны я не помню, хотя я, как младший, может быть, и пользовался его особенным расположением, но не думаю, чтобы он показывал это, впрочем, братья тоже его очень любили; впоследствии, когда мы были с ним в пансионе, то и другие дети питали к нему то же чувство; предполагать надо, что такова была уже его любящая натура, что сама по себе, невидимой силой, действовала на детей.

Учил он нас, сколько помню, только одному немецкому языку, но с таким успехом, что мы скоро успели весьма порядочно говорить по-немецки и знали очень много стихов на этом языке. Шиллер был любимым поэтом Бота, а потому преимущественно заставлял он нас выучивать его стихотворения. Во время ежедневных прогулок наших Бот не упускал ни малейшего случая и повода, чтобы выразить разного рода нравственные правила, и таким образом передавал нам понемногу свои протестантские убеждения. Не скажу, чтобы такая постоянная проповедь достигла своей цели, подробности ее даже совершенно исчезли из моей памяти, но, в общем, у меня остались воспоминания о тех впечатлениях, которые производили на меня полумистические слова Бота. Он заставлял нас молиться на немецком диалекте, мы читали обыкновенно «Отче наш» и еще какую-то молитву, которую теперь решительно не помню. Каждый вечер Бот, уложив нас спать, сам садился за стол, брал библию и псалтырь и в полголоса читал; потом начинал довольно громко петь псалмы — все это при слабом освещении сальной свечи, при спокойствии и тишине во всем доме производило на <меня> такое сильное впечатление, что я, лежа в кровати, долго не мог сомкнуть глаза и часто плакал вследствие какого-то особенно высокого душевного настроения, в котором сам себе не мог дать отчета. По воскресениям и праздникам мы постоянно ходили в церковь, и никогда Бот не противодействовал этому, хотя сам в нашу церковь не ходил. Вообще я не помню, чтобы он когда-либо позволял себе свращать нас от православия.

Всем наукам, а равно и французскому языку, обучала нас добрейшая Екатерина Яковлевна Петрова, которая исключительно состояла при сестрах. Она поступила в дом к нам еще при покойной матушке и после смерти ее осталась главной над нами командиршею. Эта добрейшая женщина, можно сказать, воспитала нас всех. Сестры, кроме нее, решительно не имели других учителей и вышли не менее учены, чем те, на воспитание которых тратилось так много денег. Окончив образование одного поколения, она с той же неутомимостью и с той же любовью принялась за воспитание другого поколения, поступив к сестре моей, Софье Евреиновой, у которой <было> 6 человек детей, и все они были не только воспитаны, но и вынянчены ею. По смерти сестры Евреиновой сироты ее, как и мы, остались на попечении Екатерины Яковлевны. Сколько нужно терпения, любви, кротости, смирения для исполнения таких обязанностей; получая от батюшки небольшую пенсию, она не только довольствовалась этим, но весьма часто, при крайне стеснительных обстоятельствах сестры Евреиновой,

помогала ей. Эти два добрейших существа — Бот и Екатерина Яковлевна — жили дружно, а потому все шло как нельзя лучше.

Батюшка постоянно занят был службою; в 1830-м году появилась в первый раз холера, а так как эпидемия эта свирепствовала особенно сильно в Москве, то многие родственники приехали из Москвы в Калугу, и это на некоторое время расстроило однообразный ход нашей жизни. Наконец, холера появилась и в Калуге, хотя по сравнению с Москвой болезнь была в слабой степени, но помню, что страх ее был велик. Предписаны были разные предосторожности, комнату окуривали хлором, в карманах носили чеснок, умывались уксусом и проч. Все это сильно нас забавляло, и все мы, по милости Божьей, остались живы и здоровы.

В 1831-м году батюшка был назначен сенатором в Москву и потому должен был оставить Калугу, нас — мальчиков — он решил отдать на воспитание калужскому помещику Семену Яковлевичу Унковскому, отцу многочисленного семейства, весьма достойному и хорошему человеку. Он жил в 12-ти верстах от Калуги в своем имении — в деревне Колышевке. За известную плату Унковский взялся обучать нас вместе с детьми своими и образовать, таким образом, маленький пансион. Егор Иванович Бот должен был оставаться при нас неотлучно в пансионе.

В назначенный день и час нас посадили в четырехместную карету и повезли в Колышевку. Сборы в дорогу, сама дорога и, наконец, новое местопребывание наше очень забавляло нас, и таким образом, нечувствительно оставили навсегда родительский дом.

Семейство Унковских, в которое мы поступили, состояло из следующих лиц. Семен Яковлевич Унковский — отставной флота лейтенант, воспитанник Морского кадетского корпуса и участник кругосветной экспедиции адмирала Лазарева, с которым с тех пор находился в тесной дружбе. Человек умный, положительный, добрый семьянин, хороший хозяин, он мог бы с пользой служить на другом поприще, но огромное семейство и недостаток средств заставили его на время удалиться в деревню. Супруга его, Варвара Михайловна, заведовала домашним хозяйством и как женщина недалняя, но весьма добрая вела это дело по старосветским преданиям при помощи огромного количества дворовых девок и женщин. Из них одна, по имени Фиона, в качестве ключницы исключительно заведовала провиантской частью, а потому все прижимки ее особенно остались нам памятны. Так как кроме нас первое время у Унковского никого из посторонних детей не было, то положение нас ничем не рознилось от положения родных детей Унковского. Их было, сколько помнится, во время нашего поступления человек 10, из коих только две дочери, остальные все мальчики разных возрастов; старшему было, впрочем, не более 14-ти лет, так как он с братом Сергеем был почти одногодок. Всем наукам обучала нас девица средних лет, и сколько помнится, звали ее Анной Андреевной, бывшая воспитанница Митавского воспитательного дома¹⁰. Как все девицы этого рода, она была весьма некрасива, немного рыжевата и постоянно ходила с подвязанной щекой. Учила она нас всех вместе и заставляла себя уважать иногда при помощи линейки. Егор Иванович Бот тоже учил всех нас немецкому языку и, так как он

Детство

исключительно находился при нас, то и спал с нами в одной комнате и, кроме того, постоянно был нашим защитником во всех мелочных спорных делах. Впрочем, его все очень любили, только с одной ключницей, Фионией, никак не удавалось ему ладить, кто из них был прав и кто виноват — теперь не берусь решить. Время пребывания нашего в деревне у Унковского оставалось мне очень памятно. Теперь уже, я думаю, трудно отыскать в России остатки формы прошедшего века, но тогда еще жили по-старинному, и худое, и лучшее, представлялось во всей наготе своей без прикрас, как оно есть. С тех пор многое переменилось, и в самом Колышеве, где я был недавно, тоже все в другом виде.

Деревня Колышево, в которой мы жили, расположена по берегу реки Угры. Господский дом недалеко от перевоза, на крутом берегу, чрезвычайно напоминает дом, описанный Гоголем в «Старосветских помещиках»; почти то же расположение, с прибавкою, впрочем, мезонина; те же картины висят по стенам, те же скрипящие двери, поющие на разный лад, на дворе так же точно протоптанные тропинки к амбару и кухне. Перед домом к реке палисадник, на который летом слетается бесчисленное количество шпанских мух¹¹, распространяющих сильное зловоние. Палисадник этот украшен цветниками разных форм, вышедших уже ныне из моды. Два тополя по краям балкона памятны тем, что на них были вырезаны начальные буквы наших имен. Другая сторона дома обращена была на двор, но на котором, кроме кухни и конюшни, находился особый флигель, в котором жила тетушка Унковская, 70-летняя старуха. За амбарами началась прекрасная роща, а близ нее фруктовый сад.

Как шло сельское хозяйство в Колышеве, нам было неизвестно. Должно предполагать, что Унковский, как человек практический, вел дела свои хорошо. Мелочное же домашнее хозяйство, находившееся в руках Варвары Михайловны, от нас не могло быть скрыто. Во-первых, огромная дворня, в особенности состоящая из лиц женского пола, наполняла девичьи и даже парадные комнаты: все сидели за работою в пяльцах; большая часть девок босиком, в затрапезных платьях. Амбары битком набиты были припасами, разного рода соленьями, варениями и проч. Приготавливались они в разное время года на наших глазах, мы сами принимали в этом деле иногда участие. Провинившиеся в чем-либо девки без всякого суда тут же наказывались, иногда собственноручно самой барыней. Для дворовых людей мужского пола были тоже наказания, которых теперь уже больше нет. Помню, что за пьянство иногда приковывали человека к так называемому стулу (толстое бревно, в котором пуда два весу). Это наказание, я помню, сильно поражало мое воображение. Кроме того, телесные наказания розгами крестьян и людей производились обыкновенно на конюшне, иногда на глазах наших. Спешу прибавить, что все это происходило весьма редко. Унковский вообще был человек добрый и справедливый и вовсе не злоупотреблял помещичьей властью своей. Он вообще был любим крестьянами, и они, сколько помню, жили в довольстве. Наказания в той форме, в какой они полагались в прежнее время, вообще, мне кажется, были менее справедливы потому, что отношения самого владельца к крестьянам были проще и ближе. Они так естественно вытекали из права помещика, что никогда не могло прийти сомнение в их законности. Теперь, напротив, все так отшлифовано, все подведено под пра-

вила приличия, а, в сущности, зло осталось то же, если не прибавилось, но только прикрытое формой. Эти-то формы для меня возмутительнее всего, они всегда во мне возбуждают сомнения в добросовестности того действия, которого служат выражением. В Колышеве, несмотря на отсутствие *comme il faut**, всем жилось хорошо и счастливо.

Первое время после Бота никого из губернаторов при нас не было. Папенька же прислал г. Картамана. Добрый француз, большой охотник с ружьем и собакой Кастор, он недолго оставался. Учились немного, резвились довольно. Описать все подробности нашей жизни, которые остались у меня в памяти, было бы слишком длинно и не замечательно. Батюшка писал нам письма, мы ему отвечали, что всегда было весьма трудно. По истечении некоторого времени Унковский выписал, не знаю откуда, француза. Этот француз по имени Аман явился в Колышево, и с тех пор жизнь наша во многом переменилась. Начали нас учить французскому языку. Бедный Бот держал себя так скромно, что француз скоро сел ему на голову. С другой стороны, нам также жизнь в Колышеве начинала надоедать, оттого ли, что мы уже пообжились, или, может быть, и оттого, что нас действительно начали иногда обижать в пользу детей Унковских. Сама Варвара Михайловна не всегда оставалась беспристрастной, а няньки и ключницы тем паче. Словом, начали мы по-нашему чувствовать свое одиночество, вспоминать о родительском доме, о матушке. Стали замечать, что мы у Унковских все-таки чужие; часто даже, глядя друг на друга, когда собирались вечером в своей комнате, мы начинали плакать, и Бот нам вторил. Ожидая в скором времени приезда батюшки, мы, наконец, сговорились просить его взять нас от Унковских к себе; Бот обещал нам свое содействие. Замысел этот мы, разумеется, хранили в тайне.

Наконец, после долгих ожиданий, батюшка приехал. Помню до сих пор, как мы обрадованы были его приезду, как мы подняли нос и стали важничать перед Унковскими, зная, что теперь никто нас не обидит. Долго мы не знали, как приступить к делу и как выразить батюшке просьбу нашу. Наконец, однажды, избрав удобное время, мы вместе с Ботом пошли в комнату, где отдыхал батюшка. Мы, не помню как, сказали ему задушевную нашу мысль.

«Пустьяки, милостивые государи, — отвечал нам батюшка, — живите здесь, вам здесь недурно, есть товарищи, а у меня вам будет скучно». Просьба наша, однако, видимо опечалила батюшку; он не мог скрыть слез своих; свидание с нами всегда расстраивало его и живее напоминало наше сиротство, а в настоящем случае он, вероятно, еще глубже почувствовал свое горе. Обстоятельства батюшки, вероятно, действительно не позволяли ему согласиться на нашу просьбу. Он утешал нас ласкою и уговорил покориться необходимой судьбе.

По отъезде батюшки все пошло по-старому, но вскоре мы должны были оставить Колышево. Унковский назначен был директором калужской гимназии, а потому все семейство и, следовательно, и мы должны были переехать в Калугу. Все это происходило, сколько помню, осенью 1838-го года. В Калуге мы расположились в казенном доме губернской гимназии, на квартире дирек-

* прилично, порядочно

тора, помещавшейся в особом казенном флигеле в два этажа. Мы жили внизу, а Унковский наверху. С приезда в Калугу, собственно, и началось наше учение. Все учителя гимназии были нашими преподавателями, вскоре начали поступать к Унковскому и другие дети на воспитание, одни как приходящие, а другие с постоянным жильством, и, таким образом, устроился настоящий пансион.

Не знаю хорошенько, кто кем был недоволен: Егор Иванович Бот был недоволен Унковским или наоборот, только дело в том, что Бот начал поговаривать о своем отъезде в Москву и вскоре начал собираться в путь, а засим наступил и самый день разлуки. Прощание с Ботом, было, может быть, первое живое горе, мною испытанное. Его разделяли все другие дети. Все навзрыд плакали и целовали доброго старика. Он сам был очень скучен и глубоко тронут нашей любовью. Дальнейшая судьба этого доброго старичка мне отчасти известна. По приезде в Москву он дал родному брату своему, который занимался в Москве не знаю чем, свой небольшой капитал (всего, кажется, три тысячи асс<игнациями>)¹², а тот устроил какую-то мельницу для растирания сандала; предприятие лопнуло, или просто брат брата надул, и бедный Егор Иванович Бот, оставшись без куска хлеба, должен был искать опять место гувернера. К счастью, поступил он к родной моей тетушке княгине Екатерине Алексеевне Оболенской (урожденной графине Мусиной-Пушкиной), у которой жил также несколько лет и был любим всеми, как и прежде. Потом он, на старости лет, задумал жениться на какой-то повивальной бабушке, был с нею очень счастлив и имел сына, которому дал имя Готлиб. Сын этот жил, кажется, недолго, вскоре за ним умерла и жена Бота, а потому и сам он отдал Богу свою добрую душу. Вечная ему память, верю, что он хотя и был немец, но теперь в раю.

После отъезда Бота мы еще более осиротели. На место его поступил немец совершенно других свойств и достоинств — некто герр Балтер. Откуда он был вывезен и как попал в Россию — мне совершенно неизвестно. Язык свой он знал хорошо и преподавал недурно, но характер имел самый бешеный. Всякая безделица раздражала его так, что он выходил из себя и дрался немилосердно. Серые кошачьи глаза придавали ему какой-то свирепый вид. Сама природа его как будто имела какие-то нечеловеческие побуждения. Так, например, он заставлял нас постоянно после обеда с ним драться: мы все нападали на него, а он, разумеется, будучи сильнее нас всех, колотил того, кто к нему попадет, изо всей мочи. После такого ряда упражнений он обыкновенно уставал, ложился на постель, снимал сапоги и заставлял нас щекотать ему подошвы. Во время уроков он бивал нас постоянно. Однажды он стал бить брата Михаила, а брат Сергей, вступившись за брата, с большим хладнокровием подошел к Балтеру сзади и ударил его так сильно в щеку, которая у него в ту пору болела, что немец упал почти без чувств. Наконец, неистовства Балтера оборвались на мне: однажды он так сильно избил меня, что я весь в крови прибежал с жалобой к Унковскому, и впоследствии⁶ этого события его выгнали.

Вместе с Балтером и даже прежде него у нас был другой гувернер — француз по имени Делон. Он был, вероятно, из солдат наполеоновской армии, гово-

⁶ Так в тексте.

рил довольно понятно по-русски и занимался всякого рода проделками. Часто возвращался он домой пьяный, был знаком с разного рода предосудительными людьми и, наконец, за какую-то мерзость был также выгнан.

Вот какого рода людям было вверено наше воспитание. До сих пор не знаю, как объяснить беспечность Унковского при выборе губернеров. Пансионом он вообще мало занимался, ибо обращал большое внимание на приведение в устройство гимназии, где и достиг своей цели.

В числе учившихся с нами детей были дети губернатора Бибикова, из них меньший, Иван, был со мной одних лет, и мы были с ним очень дружны. Я очень любил его. Отец Бибикова назначен был в Калугу после батюшки, семейство его было довольно велико, и мы часто езжали к ним на детские балы, где всегда без претензий веселились. Ваничка Бибиков вскоре умер от скарлатины, и я как друг его был очень любим его матерью.

В пансионе учили нас недурно, и преподавание разделено было на два класса, сообразно возрасту учащихся. Из детей Унковских я более всего был дружен с Иваном, который был страшно балован матерью и от которого никак нельзя было ожидать проку. На деле же, как увидим, вышло иначе.

Француз Аман, о котором говорено выше, учил нас только языку, но, кроме того, часто бывал с нами для практических разговоров. При этом он не упускал случая, чтобы не кощунствовать над святыней православной церкви. Надевал иногда на себя рогожу вместо рясы и смеялся над внешним православным богослужением. Однажды брат Сергей, не знаю по какому случаю, сказал ему, что *les francais sont venu en Russie non pas comme des conquerants, mais comme des brigands**. Француз рассердился, и какое, вы думаете, он придумал за это брату наказание?... Он заставил его 20 раз кряду письменно проспрягать по всем наклонениям следующую фразу:^b При этом брату было объявлено, что пока он не кончит своей задачи, он не получит куска хлеба. Бедный Сергей должен был просидеть до вечера и исписал целую тетрадь.

Надо быть французом, чтобы придумать такое наказание и чтобы перед ребенком стать ратником за честь своей нации. Независимо от всех учителей и губернеров Варвара Михайловна со свитою имела над нами полицейское наблюдение, и это давало какой-то семейный характер нашему пансиону. Обедали мы все вместе — семейно; лето проваживали в Колышеве, где житье было гораздо правильнее, и мы все-таки развивались среди добрых начал. Нравственность наша осталась неиспорченной. Хранитель ее, конечно, был сам Бог, но, кроме того, должен по справедливости сказать, что в патриархальном семействе много было и хороших оснований. Скажу даже, что и дурная сторона нашего воспитания имела свою хорошую сторону. Она, может быть, ближе знакомила нас с жизнью и не имела ничего привлекательного, так что не мирила нас с собою. Гораздо вреднее, по-моему, губернёр образованный, но безнравственный, который умел бы дать наружный блеск своей

* Французы пришли в Россию не как завоеватели, а как грабители.

^b Далее пропуск.

Детство

безнравственности и таким образом неприметно привить ее своему воспитаннику. Гораздо вреднее безбожное начало семейного быта, чем те мелочные и неприятные дразги ежедневной жизни, через которые нам суждено было пройти. Наконец, в сто раз вреднее для детей та условная этикетная жизнь, налагающая форму и приличие на каждое чувство и порыв сердечный, развивающая с ранних лет мелкие страстишки чванства, самолюбия, лицемерия и лицепрятия, чем патриархальная, хотя и неопрятно убранная, жизнь простых, не важных людей.

Учил закон Божий, часто ходил в церковь и в Алтарь. Калужская губернская гимназия, в которой Унковский был директором, доведена была им до возможного совершенства. Учащихся было много, и старые преподаватели заменены были новыми молодыми кандидатами Московского университета¹³, из которых некоторые были люди весьма способные. Самое заведение получило совершенно другой вид. Хотя мы учились отдельно от гимназистов, но нередко посещали классы гимназии и обыкновенно присутствовали на экзаменах.

В 1834-м году приехал государь в Калугу. Его ожидали в течение нескольких дней, и все улицы, по которым ему следовало ехать, были полны народом. Государь остановился у собора, вышел из коляски и встречен был архиереем Никанором с крестом на паперти. Тут в первый раз я видел государя.

Впечатление, произведенное его необыкновенной наружностью, осталось очень живо в моей памяти. После молебна государь отправился в приготовленный для него дом купца Зюзина. Народ окружил его коляску и хотел отпрячь лошадей, чтобы везти на себе; восторг был неподдельный, он сильно подействовал на мое детское воображение. На другой день государь посетил гимназию, где встречен был Унковским. Мы вместе с детьми Унковского стояли на лестнице, при входе в большую залу, а потом имели случай видеть государя вблизи. Обошедши все заведение, государь остался весьма доволен, благодарил и целовал Унковского и в заключение подошел к нам, поздравил двух сыновей Унковского моряками, приказал тут же Бенкендорфу принять их на казенный счет в Морской корпус.

Вскоре после отъезда государя из Калуги Унковский получил, по высочайшему повелению, назначение быть директором Московского дворянского института. Государь посетил в Москве это заведение и, оставшись им недовольным, сам вспомнил об Унковском и приказал назначить его директором.

Вслед за сим начались приготовления в Москву в зимнее холодное время. Трудно было огромному семейству с маленькими детьми скоро подняться. Решено было ехать на долгих в разных экипажах. Нам, братьям, досталась в удел кибитка тройкой, в которую засадили нас троих, не снабдив, как следует, теплой одеждой. Путешествие продолжалось три дня, и мы много натерпелись от холода и голода, под Малым Ярославцем чуть-чуть не замерзли. Наконец кое-как дотащились мы до Москвы и прибыли прямо в дом батюшки на Солянку против Опекунского совета.

1-го января. Суковкин и Бутков, которые выражали взгляд на службу. Сегодня утром оделся я в парадную форму и отправился в Зимний дворец, где назначено было мне представиться великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам.

Во дворце множество генералитета и всяких чинов обоего пола, все бегали по передним, записываясь у особ императорской фамилии. Многие приезжали благодарить за полученные награды. Между прочим, государственный секретарь Бутков получил <орден Св.> Владимира 2-й ст<епени>, а управляющий Комитетом министров Суковкин <назначен> статс-секретарем. Эти два лица, по моему мнению, совершенно выражают современный взгляд на службу и на награждения доблести. Оба они выведены в люди князем Чернышевым, постоянно служили по министерству Военному, они скоро выдвинулись из ряда и далеко обогнали своих товарищей. На чем же основано их отличие? Заслуг особенных ни один из них не оказал, государственных способностей в них решительно заметить невозможно. Все и решительное достоинство их состоит из ловкости и умения обдѣлывать делишки, т. е. так их спускать с рук, чтобы все были довольны, одним словом, они оба глубоко постигли науку, называемую фифиологию. Наука эта требует пропасть вспомогательных изучений, и этим главным образом заняты все сии профессора. Они досконально знают все мельчайшие подробности отношений сильных лиц, следят тщательно за всеми изменениями их отношений, и все их внимание обращено только «как бы так обставить» (это — техническое выражение) дела, чтобы они сошли гладко, будет ли от этого какая польза делу или нет — их совсем не интересует. Никакого серьезного участия к общественному делу, убеждению или мысли в них решительно нет. Заговорите с ними о чем хотите — вы удивитесь поверхности суждения о существе вопроса и подробности изучения его внешней формы. Все высшие лица обыкновенно о них отзываются так: «Способный человек, ловкий, распорядительный, с ним приятно иметь дело». В случае какого-нибудь затруднения мне не раз случалось слышать такие слова: «Э, да об этом надо переговорить с Бутковым, он это дело обделает», или: «Съездите от меня к Суковкину и скажите ему, чтобы он как-нибудь это дело уладил», или: «Бутков предварительно со мною об этом переговорит, и мы с ним это дело устроим». Все эти отзывы я привожу затем, чтобы показать, в чем именно состоит деятельность этих лиц и к чему она направлена. Спешу заметить, что оба они люди честные, т. е., получая огромное содержание, взяток не берут и на деньги неподкупны, и посторонние влияния, <которым> они подчиняются, не могут быть обращены им в укор, потому что собственных убеждений они не имеют решительно. Вред такого направления службы поэтому хуже открытых и явных злоупотреблений — рано или поздно зло обнаружится, ибо придет время, когда почувствуют необходимость в деятелях, и способных и действительных. Об этом предмете я, вероятно, не раз буду случай иметь говорить в этих записках; сегодня разболтался по поводу наград и совершенно некстати, потому что есть о чем поговорить, более заслуживающем внимания.

Сегодня получено известие, что соединенные флоты решительно вошли в Черное море. Князь Меншиков доносит, что английский пароход подошел к Севастопольскому рейду и хотел подойти ближе к укреплениям, но ему послали повещательный¹⁴ выстрел, чтобы он не шел вперед, иначе будут по нему стрелять. Тогда он остановился вне рейда, и к нему были посланы шлюпки с вопросом о причине его прихода. Командир парохода отдал депешу соединенных адмиралов¹⁵ к начальнику Севастопольского порта, в которой они уведомляют его, что получили приказание от правительства их войти в Черное море для охраны турецких берегов, но что, впрочем, они состоят с нами в мире. Сказывают, что в то время, когда пароход стоял на якоре, то все офицеры забрались на мачты и оттуда с помощью зрительных труб старались рассмотреть и нарисовать план укреплений наших. Сегодня же французский и английский послы объявили графу Нессельроде официально, хотя и не письменно, о вступлении соединенных флотов в Черное море. Известие это, хотя совершенно ожидаемое, произвело сильное впечатление. Все невольно спрашивали друг друга, что предстоит в наступившем году. Судя по нескольким словам великих князей, я понял, что государь также ожидает и готовится к великим событиям.

Выхода сегодня не было, но для первых чинов двора был небольшой выход в малой церкви. После обедни государь вышел в ротонду и, обратясь к стоящим министрам и генералам, поздравил их с Новым годом и при этом сказал несколько слов относительно предстоящей войны:

«Что-то нам готовит наступающий год, — сказал он, — одному Богу известно, надеюсь на него и имея таких помощников, как вы, я спокоен». При сих словах он заметно был взволнован, и слезы показались на глазах. Дай Бог ему, чтобы он не ошибся в своих помощниках, моя же вся надежда на Бога и на него. Из дворца я поехал записываться в разные места и, между прочим, был у принца Августа, брата великой княгини Елены Павловны, он приехал сюда на днях для свидания с сестрой. Я зашел к адъютанту его, полковнику прусской службы Гайеру, и застал его дома. Он сказал мне, что сейчас воротился из дворца, где государь, подойдя к нему и взяв его за руку, сказал: «Je suis charmé d'apprendre que vos camarades de Potsdam sont animés de bons sentiments. Dites leur de ma part que je suis touché de leur manifestation et que j'espère que nous marcherons toujours ensemble en restant bons camarades»*. Я спросил Гайера, в чем состояла манифестация прусских офицеров, о которой упоминает государь, и он ответил мне, что прусские офицеры прислали какое-то поздравление по случаю Синопского дела и, кроме того, положили сделать какую-то складчину в пользу бедных или чего-то другого, хорошенько не знаю, в случае первой победы, одержанной нами против англичан. Ох, боюсь я этих дружественных и симпатичных немецких манифестаций — не к добру они. Весь город говорит сегодня о войне с англичанами: всяк судит по-своему, всех мнений не перечтешь. Из них больше половины основаны на иностранных журналах и на страхе

* Я рад узнать, что Ваши друзья из Потсдама воодушевлены добрыми чувствами. Передайте им от меня, что я тронут выражением этих чувств и надеюсь, что мы всегда будем шагать вместе, оставаясь добрыми друзьями.

за бедную Россию, которая в их глазах уже «почитай, что пропала». Великого князя Константина Николаевича я видел мельком в Зимнем дворце. Он подтвердил мне, что государь был очень доволен моим представлением о возможности принять обмундировку и продовольствие бессрочных отпусковых Морского ведомства на счет сумм министерств, не требуя на сей предмет особой ассигновки. Государь встал с места и низко поклонился великому князю, сказав: «Чувствительнейше Вам благодарен».

Доклад мой действительно пришелся кстати, ибо, не говоря об огромных денежных расходах, наблюдаемых в теперешнее время, представляются непрерывно новые, непредвиденные издержки, которые можно назвать неприятными сюрпризами.

Так, например, из числа посланных в кругосветную экспедицию трех судов: фрегата «Аврора», транспортов «Неман» и «Наварин» — первый потерпел сильную бурю и должен был чиниться, второй совсем погиб — успел спастись только экипаж, а третий сильно повредился и должен был чиниться в Англии. Едва «Наварин» починился и вышел в море, опять должен был вернуться и чиниться. Чинка продолжалась около месяца, а в это время англичане делали нашим офицерам и матросам всякого рода пакости, сманивали матросов и уговаривали пятерых бежать. Наконец починившись, «Наварин» вышел в море по назначению в Камчатку, но вместо того пошел в Голландию, и командир прислал оттуда донесение, что дальше идти не может; что будут делать с экипажем и грузом — еще неизвестно. Государь сильно огорчен был этим известием. Для кругосветной экспедиции выбраны были лучшие суда Балтийского флота. Что же после того остальные? Такого рода открытия и сюрпризы накануне войны могут свести с ума человека. Виноватого в этом деле, разумеется, нет. По ведомостям и министерским сведениям все в порядке. Право, хуже войны нас разоряет это всеобщее равнодушие к общественному делу и бумажная игра в администрации.

Сегодня получены известия о блистательных победах для наших войск близ Кадафата. К несчастью, опять победа без результатов. Храбрость наших войск изумительна. Три батальона пехоты при 4-х орудиях держались более двух часов против 18-ти тысяч турок и 24-х орудий. Отрядом командовал полковник Баумгартен, генерал Бельгард пришел ему на помощь и заставил неприятеля отступить, отбив у него 4 пушки. Потеря с нашей стороны: убитых 800 чел., раненых более 1000. Турок легло на месте около 3000 чел. Замечательно, что все наши офицеры ранены коническими пулями, видимо, на них преимущественно целит неприятель: убитых офицеров 14 человек. Государь приказал офицерам носить в деле солдатские шинели.

Сегодня был обычный выход на Иордань¹⁶. Я не поехал, а Алексей Николаевич (граф А. Н. Протасов) с открытой головой смеялся над 20-ю градусами мороза.

Сегодня утром я был с докладом у великого князя, по окончании доклада он мне сказал: «Я намерен дать вам одно весьма важное поручение — не как директору департамента, а как князю Оболенскому. У нас нет каменного угля для навигации в будущем году, и ежели последует разрыв с Англией, то и дос-

тать его неоткуда. Я намерен сделать опыт заготовления донского антрацита — возьмите на себя труд заняться этим делом и сообразить, какие следовало бы принять теперь меры и во что может антрацит обойтись». Я отвечал великому князю, что не имею никакого понятия в этом деле, но постараюсь повидаться со знающими людьми и собрать все нужные сведения.

Вчера и сегодня я бегал, как угорелый, чтобы собрать все сведения по предмету заготовления донского антрацита. Оказывается, что это дело возможно, и хотя оно обойдется очень дорого, но необходимость должна заставить прибегнуть к этому средству. К тому же первый опыт будет весьма важен для последующих действий. Я вижу в этом деле огромное дело, которое получит государственную важность. Я представил великому князю соображения мои, он вполне остался ими доволен и сказал мне, что он докладывал уже об этом государю и что государь мысль мою совершенно одобрил. Поэтому надо немедленно приступить к делу. Я представил великому князю, что весь успех дела будет зависеть от расторопности и усердия исполнителей; что так как главным образом вся операция будет производиться на Дону, то надо поручить ее в совершенно полное и неограниченное распоряжение атамана, который, как говорят, весьма умный и добросовестный человек. Но чтобы избежать переписки, которая отнимет пропасть времени, необходимо командировать кого-нибудь на место, чтобы условиться с атаманом о всех подробностях дела. Великий князь сказал, что он непременно хочет передать все это дело в мой департамент и непосредственно моему распоряжению. «Ежели так, — сказал я, — так позвольте мне самому съездить на Дон». Великий князь очень обрадовался этому предложению, и так как у нас все делается неотлагательно, то тут же отдал все распоряжения о командировании меня.

Я собирался выехать сегодня, но жена не пустила; еду завтра. Великий князь написал прекрасное письмо Хомутову, прося его содействия.

Я приехал сегодня в Москву, обедал у папеньки, где собралось все семейство. В продолжение дня бегал как сумасшедший по всей родне, а в два часа ночи выехал из Москвы по тракту в Новочеркасск.

Сегодня в два часа ночи приехал я в Новочеркасск. Дорога ухабистая, снегу пропасть, я измучился ехать день и ночь ровно пять суток.

Остановился в довольно чистом трактире. От хозяина узнал, что атаман встает в 6 часов утра и с 7-ми уже принимает. Я решился, не ложась спать, приготовиться к утру, обрился, вычистился и лег спать, напившись чаю в 4 часа ночи. Утром в 6 ч. 30 м. меня разбудили, и я, надев мундир, в 7 часов поехал к атаману. Михаила Григорьевича Хомутова застал я уже в кабинете занимающимся. Он не ожидал моего приезда и не знал причины его. Я передал отношение и письмо великого князя. Узнав, в чем дело, он сказал, что писал, настаивал, из кожи лез, чтобы доказать необходимость устроить правильное сообщение и упрочить снабжение антрацитом России, но что все его предположения лежат в Петербурге. Горячо к сердцу принял он настоящую потребность и уверил меня, что употребит все старания и всевозможные средства к исполнению предположения великого князя. Чтобы не дать промышленникам возможности поднять цены, он просил меня держать цель моего приезда в совершенном сек-

рете. Я это сделал с тем большим удовольствием, что, возвратясь домой, завалился спать и спал до двух часов мертвецким сном. Обедать поехал к Хомутову, он познакомил меня с женой и детьми. Сам Хомутов мне очень понравился. Человек он, видно, прямой, добрый и с искренним желанием блага, говорит немного, но дельно и, что в особенности замечательно, это то, что на меня не смотрел, как обыкновенно смотрят в провинции на заезжающего из столицы. Не было никаких пустых вопросов и неуместного любопытства — признак полноты истинных интересов и сочувствия оным. После обеда я опять пошел домой спать, а в 8 часов опять поехал к атаману, который познакомил меня со здешним купцом Коневым, человеком весьма умным и честным. Его Хомутов хочет употребить для производства предполагаемого заготовления. Препятствий к успешному окончанию этого дела — пропасть, и не знаю, удастся ли нам победить их. Завтра Конев доставит мне все нужные сведения, и к вечеру я, может быть, соберусь в обратный путь. Города Новочеркаска я не видел, да, кажется, и смотреть нечего — город новый, еще не совершенно отстроенный. Улицы, как степи, реки большой нет — Дон в 20-ти верстах. Следовало город построить на берегу Дона, но кому-то этого не захотелось, а теперь только повторяют: «Жаль, что не построили города в Аксае — отсюда 20 верст, там ему следовало быть. Жаль, очень жаль».

Не удалось мне сегодня выехать из Новочеркаска, надо было дожидаться возвращения приказчиков Конева, посланных им в Ростов для собрания разных сведений. Обедать я опять у атамана — вечером также был у него для окончательных переговоров. Дело, кажется, идет на лад и, с Божьей помощью, может быть доведено к желаемому концу. Сегодня я написал жене и Головинну письма и насилу их мог окончить. Рядом со мной в комнате кутят казаки-офицеры в компании с каким-то монахом из Сергиевской Пустыни, что близ Стрельны. Не только шум и гвалт мешал мне заниматься, но всякое слово, ими произнесенное, доходило до меня. Монаха напоили и стали делать с ним всякого рода бесчинства. Смешно и гадко было слышать. Были, между прочим, прекурьезные канонические споры, в которых казак совершенно загнал монаха. Я думал, что мне не придется сегодня от этого содома уснуть, но, наконец, все отправились, но не по домам, пьяного монаха тоже уговаривали ехать, но он остался непреклонным. Завтра со светом я намерен отправиться в обратный путь на Ростов, Харьков, Курск, Орел, где пробуду несколько часов у брата Андрея, а потом отправлюсь в Калугу, пробуду там сутки и потом в Москву. Сегодня весь день здесь страшная метель, так что дороги, вероятно, сделались еще хуже. Почта сегодня не пришла.

Я располагал выехать сегодня со светом, а наместо того атаман пришел за мною в 6-м часу утра, я оделся и немедленно отправился к нему. Атаман хотел сделать некоторую перемену в своем донесении, а потому и попросил у меня те бумаги, которые отданы были мне накануне. Разговор и совещание наше продолжалось часов до 10-ти утра, я вернулся домой, послали за лошадьми, но Конев уговорил меня ехать на Ростов пораньше, утверждая, что дороги тут гораздо лучше. Но так как этот тракт не почтовый, то я должен был нанять вольных лошадей. Мне привели таких кляч, что я предвидел горькую свою участь.

В 12 часов я выехал из Новочеркаска, и, действительно, дорога была хороша, но в Ростов я дотащился в 4-м часу, хотя расстояние от Новочеркаска всего 35 верст. Так как дело подходило к обеду, то во мне разыгрался страшный аппетит, подстрекаемый воспоминанием о стерлядях, балыках и осетрах, которыми, по статистическим сведениям, изобилует этот край. Я с жадностью спрашивал у проходящих, где получше трактир, и мне указали на один, который с наружного вида показался довольно чистым. Но какова была моя досада, когда меня ввели в сквернейшую и набитую народом гостиницу, в которой кухмистерская часть соответствовала всем прочим частям заведения. В отчаянии я стал расспрашивать поваров, что у них есть. «Что Вам угодно» — обыкновенный ответ. «Рыба есть?» — «Простая есть». — «А стерляди?» — «Стерлядей-с, нет-с». — «Отчего же?» — «Да не можем знать-с, не ловятся». — «Да помилуй, братец, Ростов славится рыбой». — «Как же-с, она у нас ловится-с, но здесь ее достать нельзя». — «Как, здесь нельзя купить осетрины?» — «Можно-с, но не первого сорта». — «А икры?» — «Икра есть-с». — «Почем?» — «Восемь гривен серебром за фунт». — «Помилуй, братец, это дороже петербургского». — «Почти так-с». — «Да отчего же это?» — «Так-с, такое уже это-с коммерческое заведение». Этот случай убедил меня еще более, что никак не следует у нас в России на статистических сведениях основывать какие-либо предположения, а тем более никак не возбуждать ими свой аппетит. Окончательно я, скрепя сердце, похлебал нечто вроде ухи из мерзкой осетрины и попробовал котлету, которую съесть не мог, хотя я от природы не брезглив. В Новочеркаске рекомендовали мне купца, от которого можно получить хорошую рыбу, я писал к этому купцу, но его не было в городе. С досады я послал за лошадьми, чтобы положить конец неудачам сегодняшнего дня. Не тут-то было. Метель, которая со вчерашнего дня не переставала, разыгралась вновь с новой силой. Дорога лежит степью, надеясь на дневной свет, пустился в дорогу. Только что мы выехали из города, дорога с глаз наших исчезла, и следы ее, занесенные снегом, пропали. Чуткие кони кое-как неслись в необозримой пустыне снегов. Начинало темнеть, и мы близ самой станции сбивались несколько раз с дороги. Добрались до станции; я думал по крайней мере найти покой и приготовился с терпением ожидать утра, употребив свободное время на составление окончательного донесения об исполненном мною поручении. Не тут-то было. Скверный и крохотный стационарный дом был битком набит проезжающими, которые по необходимости должны были отложить всякое попечение о продолжении путешествия, ибо смотритель решительно объявил, что дороги нет и ехать невозможно. В числе проезжающих было 6 человек грузин, только что произведенных в офицеры из юнкеров. Они отправляются в действующую армию на Кавказ и исполнены отваги и молодецких порывов. Я спросил у них, не знают ли они Багратиона Мухранского, и один из них назвал его родственником, я дал ему письмо к Багратиону, — воображаю, как Багратион будет удивлен, получив от меня письмо со станции Чайтыры. Храбрые грузины решились пуститься в путь, надеясь на наши следы, которые, может быть, видны еще, и, кроме того, они едут на трех тройках и потому более безопасны от стай гуляющих волков. В Новочеркаске почтмейстер сказал мне, что на днях фельдшер еле от них отбился, и то

благодаря подоспевшей на помощь почте. Так как грузины уехали, то комната, в которой они были, освободилась, и я ее занял. Расположился в ней пить чай. Принес все свои вещи и намерен, кроме журнала¹⁷, написать сегодня еще целое донесение. Завтра со светом выеду. Дай Бог, чтобы метель к завтраму приутихла, иначе я просто не знаю, когда выеду.

1-го марта. Насилу добрался и до Орла. Говорят, дворяне избавлены от телесного наказания, но до тех пор, пока они не будут избавлены от ухабов, они этим правом не могут пользоваться. Что я вытерпел дорогой из Харькова в Курск, того никаким пером нельзя описать и никакими словами сказать. От Курска до Орла надеялся немного отдохнуть, но надежда моя не осуществилась, снегу нанесло ужасно, а военные обозы, парки¹⁸, артиллерия изрыли дорогу совершенно. Конечно, ни в какой земле нельзя встретить подобного зрелища, какому я был свидетель. Огромные военные фуры на колесах тянутся по всей дороге; шесть, а иногда семь лошадей насилу вытягивают ее из ухаба, иногда в сажень глубиною; несмотря на все это, обоз идет и люди следуют за ним бодро.

Войска, которые попадались мне навстречу, поразили меня своею бодростью и веселым расположением духа. Солдаты идут по глубокому снегу в метель и мороз, который доходил до 30 градусов, и, несмотря на все это, больных очень мало. Нельзя сказать, чтобы они особенно воодушевлены, что идут защищать веру и правое дело; по-видимому, они сами хорошенько не сознают, с кем и за что война, даже офицеры, с которыми мне на станциях пришлось говорить, не понимают в чем дело и куда они идут, тем не менее готовы драться и, если нужно, погибнуть. Что же будет, когда заиграет в них нравственное чувство и поймут, что идут против всей Европы, их ненавидящей, спасти не только единоверцев, но и могущество России?

В Орле я остановился у брата Андрея, который был очень обрадован моим приездом; у него я застал княгиню С. Н. Щербатову. Намерение мое было выехать в ночь в Калугу, но рассказы о дороге, мне предстоящей, и сильная метель заставили меня переночевать в Орле и утром отправиться в путь. Вечером собралось у брата моего много гостей — орловских помещиков. Его здесь, как и везде, очень любят. Во всех губернских городах общество обыкновенно разделено на партии; в Орле — также, у брата же соединяются все враждующие партии, и он хорош со всеми. Теперь в Орле выборы¹⁹ — сплетням и интригам, как кажется, несть конца. У брата вечером были и дамы. Меня поразила пустота разговоров и отсутствие местных интересов. Больше ни о чем не говорят, как о Петербурге и его удовольствиях, о России в особенности. Все анекдоты и каламбуры, слышанные мною при отъезде из Петербурга, услышал я опять в Орле. Политические события, по-видимому, мало занимают здешних жителей, как и в Петербурге. Я знаю, что придет минута, где все до единого соединятся в одном общем чувстве, но не менее того, очень жаль, что правительство не изыскивает средств руководить общественным мнением, хотя бы в отпор той дряни, которая каждый день читается в иностранных журналах.

Вчера выехал из Орла ровно в 12 часов утра, а сегодня в это же время приехал в Калугу. К счастью, здоровье Вареньки Толстой поправляется, и я на-

1855 год

шел ее лучше, чем ожидал. Вся болезнь ее происходит от забот, хотя, впрочем, спинная часть, видимо, поражена, и потому нервы ее в самом жалком положении. Егор Петрович не видит ничего серьезного в болезни Вареньки, а она сама старается скрыть перед ним все страдания свои. Эта женщина — ангел во плоти. Губернаторский дом, где живут Толстые, сильно возбудил во мне воспоминания о давно прошедшем. Странно судьба связала меня с Калугой: там провел я свое детство, там похоронены матушка, бабушка, сестра Зубова, которая за тем как будто бы только и приехала в Калугу, чтобы там умереть и лечь рядом с матушкой. Калуга для всех нас — родной город. Но вот, 20 лет спустя после того, как мы его оставили, Толстой назначается туда губернатором и помещается в том же доме, в котором жил батюшка с матушкой. Дети мои проводят лето в загородном доме губернаторском, там же, где и я жил, бегают по тем же местам, где и я бегал. Наконец, в теперешний мой приезд в Калугу, я ночевал в той же комнате, которая некогда была нашей детской. Я, как бы во сне, увидел все старое, и много грустных воспоминаний наполнило мою душу. Мне непременно хотелось видеть доктора Вареньки, чтобы от него обстоятельно узнать степень ее болезни. Бедная сиделка (Агафакля Петровна, урожденная княжна Трубецкая, сестра Дарьи Петровны Оболенской, впоследствии замужем за Клушиным) ухаживает за больной сестрой с удивительным и ангельским терпением. Я решительно не встречал в жизни девушки с такими высокими нравственными качествами. Доктор должен был возвратиться сегодня из Петербурга, но не приехал, а потому я остаюсь здесь до завтра.

Сегодня в 8 часов утра я приехал в Москву, во всю дорогу я спал, а потому нимало не устал. От жены писем ко мне нет — вероятно, она услала их в Новочеркасск. К Анне Петровне она писала, что Саша был нездоров. Это меня беспокоит, а потому я решился завтра же ехать в Петербург. Здесь узнал я, что английский и французский посланники получили паспорта²⁰, а нашим послам тоже приказано выехать. Давно пора. Итак, дела начинают оживляться. Посольство графа Орлова в Вену, несомненно, уехало. Австрия и Пруссия, ежели не решительно против нас, то по крайней мере и не за нас. Итак, мы одни против...

1855 год

Сейчас я узнал, что государь весьма болен. По словам медиков, у него воспаление в легких и подагра в груди. Государь простудился 10-го числа на свадьбе дочери Клейнмихеля, куда поехал в кавалергардской форме, в тонких сапогах, без теплых чулок. Лихорадка продолжалась три дня и была очень слаба, на четвертый день он выехал в манеж смотреть какие-то батальоны — тут он окончательно простудился и вернулся домой совершенно больной. Никто в городе не знал до сегодняшнего вечера о том, что болезнь государя опасна. Бюллетеней нет, граф Орлов сегодня настоял, чтобы с завтрашнего дня начали печатать известия о ходе болезни, чтобы приготовить народ к известию, которое может его внезапно поразить. Боясь, чтобы это не было поздно, доктор Карель, говорят, сегодня объявил, что не ручается ни за одну минуту.

Кроме Мандта и Карелля, пригласили еще Енохина, доктора наследника, главным образом для того, чтобы в подписях под бюллетенем было хоть одно русское имя. Сегодня вечером государь приобщался — ему сделалось, по-видимому, хуже. Кажется, надежды мало. Говорят, Мандт не совсем потерял ее, впрочем, этому шарлатану верить нельзя. Никто, кроме императрицы и наследника, к государю не допускается. Великий князь Константин Николаевич не видал его уже 5 дней.

Доклад министров принимает наследник. Вчера докладывал ему великий князь. Доклад этот был весьма замечателен. На некоторые представления великого князя наследник не согласился, а в заключение сказал ему тоном совершенно необыкновенным, что он, наследник, весьма доволен всеми действиями великого князя по управлению, что ему весьма приятно слышать, что Морское министерство пользуется большим доверием общества, что это видно из того, что охотнее посылаются пожертвования в Морское министерство, чем в Военное, что он совершенно одобряет намерение великого князя действовать с некоторою публичностью, что он замечал даже князю Долгорукову, почему он не действует так же, на что получил в ответ довольно основательное оправдание, а именно то, что администрации Военного ведомства несравненно сложнее, что вообще он, наследник, очень рад, что в публике все улучшения относят к лицу великого князя.

Слова эти, сказанные положительным и твердым голосом, изумили великого князя, и он был от них в восхищении. Страшная минута наступила для России. Наследника хорошенько никто не знает, что, ежели он окажется достойным своего призвания. Помогите ему Бог. Кругом него нет никого замечательного. В настоящую минуту никто, кажется, не осмеливается выступить вперед и принять на себя необходимые распоряжения для предупреждения недоразумений и замешательств, которые могут произойти от неожиданной вести. Народ вообще не верит естественной смерти своих царей, а в настоящих обстоятельствах не один черный народ может усомниться. Манифестом об ополчении вся Россия теперь поставлена на ноги. Как-то примет она роковую весть? Вся надежда на Бога.

18-го февраля. Сегодня утром разнесли с газетами 3 бюллетеня. Я отправился в Мраморный дворец с докладами, хотя и предвидел, что великого князя, вероятно, не застану. Так и случилось. От Головнина узнал, что за великим князем еще ночью присылали и он еще до сих пор не возвращался из Зимнего дворца. Посему видно было, что дело шло к концу. Садясь в сани, я приказал кучеру ехать набережной мимо дворца, на площади увидел много экипажей и у Салтыковского подъезда народ. Я вышел. Подходя к дворцу, встретил офицера, горько плачущего. У подъезда узнал, что государь только что скончался. Это было в 12 ч. 30 м. пополудни. Во дворец войти не решился и отправился в департамент, чтобы узнать, не получены ли там какие-нибудь приказания. В департаменте долго оставаться не мог, пораженный известием, никакие дела не шли на ум. Между тем из окна²¹ видел, что у дворца народу прибавляется и число экипажей увеличивается... Я пошел ко дворцу и, узнав от выходящего

князя Ивана Леонтьевича Шаховского, что он уже принял присягу новому государю в числе прочих бывших во дворце, я вслед за другими вошел во дворец. Здесь увидел я статских в сюртуках и военных в мундирах. На лицах всех было написано недоумение и удивление, особенной грусти ни в ком не замечал. Вслед за другими дошел я до Большой церкви, где желающие присягали новому императору. Ни от кого нельзя было добиться толку, я подписал присяжной лист, зная, что мне придется еще присягать в департаменте. Из церкви я пошел по залам и коридорам. В комнатах у нового императора собраны были полковые командиры. Я старался от разных лиц собрать какие-нибудь сведения о последних минутах почившего, но узнал немного.

В 12 часов ночи императрица предложила ему приобщиться, но он, не считая себя в опасности, хотел отложить до утра. Но потом призвал Мандта, спросил его — не находит ли он его опасным. Мандт отвечал положительно, и вследствие сего государь тотчас же стал с необыкновенным хладнокровием готовиться к смерти. Долго исповедовался, усердно молился и принял причастие в 2 часа ночи. С наследником долго говорил наедине и засим прощался со всеми детьми, прося их жить в мире и согласии. Говорят, все это было исполнено государем с необыкновенной твердостью и силой. Приехавший из Крыма сын князя Меншикова привез письма от великих князей Николая и Михаила. Ему хотели их прочесть, но он отказал, сказав, что не время ему помышлять о земном, приказал читать отходную и постоянно молился. Агония началась отнятием языка, но к утру опять заговорил молитвы и вновь приказал читать отходную и тихо, без больших страданий, скончался в 12 часов и 30 минут пополудни. Вот все, что я мог сегодня узнать. Многих подробностей недостает, которые я постараюсь привести в известность. Говорят про какое-то духовное завещание, и Адлерберг сделан душеприказчиком. Вечером, в 7 часов, назначена панихида в Большой церкви, но так как официального извещения о ней не было, то съехались немногие. На панихиде меня поразило то же, что и утром, а именно: отсутствие признаков глубокой скорби в лицах, которые пользовались милостыями покойного. После панихиды я в числе прочих вошел в кабинет государя, где покоилось его тело. В этой комнате он и лежал больной, и в ней умер. Она так мала, что едва можно нескольким человекам в ней повернуться. Тело лежит на походной складной кровати и занимает почти всю ширину комнаты. Никогда во всю мою жизнь я не видывал — и, конечно, не увижу — такого величественного изображения смерти. Лицо покойного, покрытое легким флером, изображало такое спокойствие и такую красоту, что, конечно, самый равнодушный человек не мог бы не быть тронут таким зрелищем. В ожидании бальзамировки тело еще не одето в мундир. Я приложился к покойному с невыразимым чувством, которого определить не могу. Покойный перед смертью отдал все приказания насчет своих похорон. Согласно оным, тело будет выставлено на 8 дней в комнатах Ольги Николаевны, а потом перенесено в крепость, где также будет стоять неделю. Срок этот слишком короток, вероятно, его заменят. Из Зимнего дворца я отправился в Мраморный дворец, чтобы узнать у Головнина о здоровье великого князя. Головнин сказал мне, что великий князь очень огорчен и расстроен. Завтра назначен выход.

19-го февраля. Сегодня собрались мы в департаменте и приводили чиновников к присяге. В час пополудни отправился я во дворец на выход. Сначала велено было съезжаться в полной парадной форме, а потом отменено — всем быть в черных брюках, что всем гораздо приятнее, и это обстоятельство, хотя ничтожное, но не осталось без замечания. Во дворце собралось множество лиц обоего пола, никто не знал хорошенько своих мест, отчего происходила немалая путаница. Сегодня, как и вчера, и даже более вчерашнего, поразило меня совершенное равнодушие к совершившемуся событию. Всякий толкует о своем, и, казалось точно, как будто собрались на обыкновенный выход: ни слезинки, ни вздоха, ни даже огорченного лица не видал я ни в ком из важных, которые более других отмечены были покойным. В городе, на улицах, то же равнодушие — ни одной души не было на площади, а в лавках и магазинах торговля, как будто ничего не бывало. Нет сомнения, что в Париже и в Лондоне, по получении первого известия о смерти государя, все заколышется — а здесь ровно ничего, как будто все по-старому. Это замечание делали многие. Казалось даже, что под видом равнодушия скрывалась внутренняя радость. Явление нового императора и императрицы произвело сильное на всех впечатление. Государь и особенно императрица в сильном волнении, с глазами, полными слез, приветствовали всех с достоинством. На лицах всей царской фамилии видна печаль. В церкви Панин прочел манифест, засим Баженов прочел присягу, и потом провозглашена была новая эктения и многолетие. Во все время службы государь от умиления плакал. На возвратном пути он шел бодрее, и лицо его выражало приличное спокойствие. Великий князь, проходя мимо меня, судорожно пожал мне руку, по лицу судя, он был весьма опечален и взволнован. Засим все разъехались по домам, и, казалось, ничего особенного не случилось. Вечером я нарочно поехал в клуб посмотреть, что там делается, и послушать, что там говорят. Но, к величайшему моему удивлению, никто ничего не говорит и все преспокойно играют в карты, как будто ничего не бывало. Не думаю, чтобы в Москве и вообще в России так же легко было принято известие о смерти покойного государя. Петербург — просто департамент, а жители его — чиновники. Вышел директор — поступил другой, чиновники поговорят день и перестанут в уверенности, что жалование все-таки получают.

20-го февраля. Сегодня во всех церквях читался манифест, и народ слушал его без проявления каких-либо чувств. В газетах напечатано два приказа нового императора к войску — объявлено переименование полков, назначение Редигера командующим Гвардейским и Гренадерским корпусами — вот и все. Утром я поехал к Головнину, чтобы узнать у него некоторые подробности о происходящем, дорогой заехал записаться к великой княгине Елене Павловне; Головнина я застал дома, и мы долго беседовали с ним. В словах его я заметил необыкновенную перемену. Он силился доказывать мне, что великий князь не должен ни во что вмешиваться и ограничиваться единственно званием морского министра. Все возражения мои и сомнения насчет того, что трудно будет сохранить бесстрастное положение в вопросах, не идущих и касающихся до интересов всей земли, что в жизни и в частных случаях положение его как бра-

та императора, будет весьма неопределенным и проч., он настойчиво утверждал, что никакого другого значения и никакого другого места, кроме морского министра, великий князь иметь не должен и не хочет. Тон, которым все это было говорено, возбудил во мне, не знаю почему, сомнения в искренности выставляемых убеждений, тем более что они несогласны были с тем, что за несколько дней перед этим он мне говорил. Мне казалось, что Головнин, находясь под каким-то страхом, хочет настроить меня на лад, опасаясь, чтобы я не проговоривался в другом смысле. Воротился домой в 4 часа, мне сказали, что за мной приезжал вестовой от великой княгини Елены Павловны с приглашением приехать к ней немедленно. Я надел фрак и отправился. Принят был в туалетной. Она только что возвратилась из Зимнего дворца. После нескольких слов о постигшем несчастии она мне сказала, что ночью, когда государю сделалось очень худо, она поехала во дворец, вошла к нему в комнату, и он ей сказал: «C'est très bien à vous, Madame Michel, d'être venue me voir et me dire adieu. Il paraît, que je»* — и при этом свистнул и показал рукой, что уходит. «Dites bien des choses de ma part à Catherine et à son mari»**.

Великая княгиня хотела поцеловать его руку, но он не дал и поцеловал ее просто. По словам великой княгини, государь долго боролся со смертью и под конец он сильно страдал, спазмы и удушья мучили, и так, что было страшно смотреть — язык его несколько раз переворачивался, потом вдруг он успокоился, все полагали, что он скончался, но вдруг опять начались припадки и страшные мучения. Все это он переносил с чрезвычайным спокойствием и терпением. Великая княгиня говорит, что его скверно лечили. Оставленное завещание писано было в 1846-м году, в нем, кроме воззвания к детям, выражена благодарность Орлову, Киселеву, Бенкендорфу, Клейнмихелю и назначены некоторые пенсии и также подарки. Призвала она меня затем, чтобы сказать, что непременно надо действовать на великого князя и убедить его стараться войти в доверие брата и иметь влияние на дела, ибо она предвидит, что начнутся страшные интриги и государем завладеют люди неблагонадежные, глупые и шпионы. Она сказала мне, что сейчас во дворце к ней подходила великая княгиня Александра Иосифовна²² и жаловалась на то, что Мария Николаевна²³ начинает уже забирать силу и что этому нужно помешать. Великая княгиня взяла сторону Константина Николаевича и стала говорить ему, что теперь пришло время ему воспользоваться его способностями и приобрести хорошее влияние на брата, что теперь возбуждены будут дела, которые будут требовать умного обсуждения и проч. На это великий князь отвечал, и довольно сухо, что он ничего сделать не может, что его дело — Морское министерство, что он первый слуга императора, и проч. и проч. ... Из всего этого великая княгиня вывела заключение, что он не оправдает вновь никаких надежд и что все это может дурно кончиться, что она помнит, как в начале царствования покойного государя он (государь) хотел советоваться по делам с Михаилом Павловичем, но что этот также уклонялся и,

* Это очень мило, мадам Мишель, что Вы пришли повидать меня и попрощаться. Я, кажется...

** Передайте мои наилучшие пожелания Екатерине и ее супругу .

кроме военного, ничего знать не хотел, о чем впоследствии сам жалел, ибо отучил государя от желания говорить с ним о делах и иногда сам хотел и не знал, как быть впоследствии, но вынужденным находилась иногда действовать через нее. В новом императоре она не предполагает ни характера, ни воли и убеждена, что Ростовцев и другие, под маской добродушия, любви и преданности, будут стремиться <приобрести> большое влияние. О многих вопросах, по словам ее, уже толкуют разную дребедень, как то: о возвышении дворянства, т. е. о какой-то аристократии, что эта мысль не находит большого сочувствия в новой императрице и Марии Николаевне, на которую действует Строганов, что нежность доходит до того, что всех казенных крестьян полезно было бы обратить в помещичьи и проч. и проч. Одним словом, по всему видно, что начинается каша и готовится страшная путаница. Чем все это может кончиться — право, не знаю. Сохрани Бог, если все эти бабьи сплетни правда будут иметь влияние на дела. Нет ни одной мысли, которая не смогла бы прийти в голову какой-нибудь Марии Николаевне, когда она захочет придумывать правительственные меры для блага России, на которую не может смотреть иначе, как глазами французской гризетки. Право, страшно. Я отвечал великой княгине, что я не имею решительно никакого влияния на великого князя и что мне даже ни разу не случилось говорить об общих государственных делах, что, по моему убеждению, сила вещей заставит великого князя не ограничивать деятельность свою одним кругом Морского министерства, что желательнее было бы для общего спокойствия, чтобы отношения обоих братьев были определены более положительно и это было бы возможно, ежели предоставлено было великому князю место, которое вменяло бы ему в обязанность в известной мере заняться делами, как-то: председательство Государственного совета и т. п. Она просила меня передать ее слова Головнину, но я сказал ей, что вряд ли это чему-нибудь поможет, надо ожидать, чтобы время уяснило настоящее положение вещей.

Прусский король сюда не будет на похороны, а едет принц Карл и сестра императрицы. Покойный государь, умирая, продиктовал депешу прусскому королю, в которой говорит, что, умирая, напоминает ему предсмертные слова отца короля. Что для благоденствия Пруссии — жить всегда в мире с Россией. Прусский король отвечал по телеграфу, что слова отца он помнит и свято будет соблюдать. Австрийский император на телеграфическое известие о кончине покойного императора писал, что сам сильно скорбит об утрате, и в особенности потому, что покойный государь не успел убедиться в чистоте намерений его (австрийского императора). Государеву полку оставлено прежнее наименование в память постоянной дружбы и услуг, которые государь оказал Австрии в 1848-м году. Всеми этими словами, кажется, утешаются. В Берлин писал Гринвальд, в Вену — Ливен.

21-го февраля. Ничего особенного сегодня я не мог узнать. Народ допущен был во дворец для поклонения праху. При этом происходила, кажется, страшная неурядица. Из департамента я пошел посмотреть, что происходит перед дворцом, и видел толпу народа, теснившуюся у Салтыковского подъезда. Во дворец пускали понемногу, и за нарядами наблюдали два верховых

жандарма и несколько городских, которые колотили верноподданных по зубам и по чему попало страшным образом. И вся толпа безропотно повиновалась власти, отечески действующей. По рассказам людей, входивших в траурную комнату, лицо государя покрыто парчой, так что народ не видал его — это произвело, по-видимому, неприятное действие. Я сам слышал, как какой-то господин спрашивал у разных лиц, правда ли, что лицо государя закрыто, и когда ему говорили, что правда, он несколько раз прибавлял: «Зачем бы, кажется, закрывать? Еще не так давно, что государь скончался». Дело в том, что тело покойного неудачно было бальзамировано, и оно сильно стало портиться. Говорят, сегодня ночью опять хотели испытать бальзамирование, другим способом. Жаль, что народ не видал величественного лица усопшего. Сомнения в народе насчет внезапной кончины государя могут через это усилиться. Вчера новый император принял всех офицеров гвардии и говорил им, как слышно, очень хорошо; упомянув о современных обстоятельствах, он сказал, что не намерен уступать врагам. Слова его были приняты с большим одушевлением. О каких-либо новых распоряжениях еще не слыхать. Впрочем, мне не удалось сегодня никого видеть, от кого бы можно было узнать истину. Говорили о какой-то победе в Крыму. Дай Бог.

22-го февраля. Говорят, что в Москве, во время чтения манифеста и присяги, упал с Ивановской колокольни один из больших колоколов и убил 4-х человек... Странный случай этот, вероятно, возбудит какие-нибудь толки и объяснения в народе. Ничего нового не слыхать.

23, 24, 25-го февраля. Со всех сторон слышатся одобрительные отзывы о действиях нового императора — не только в речи к дворянству, но и в словах, обращенных к дипломатическому корпусу. Выразил он твердую решимость не соглашаться ни за что на какие-либо дальнейшие уступки. Все удивлены умению его говорить сильно и с воодушевлением. Рескрипт Ростовцева доказывает, что этот господин в большой милости и, вероятно, получит большое назначение. Университетам в таком случае придется плохо. Особенно распорядительных мер еще не видно. Сегодня приехала великая княгиня Ольга Николаевна, и все семейство, кажется, соединено в общем чувстве общей грусти. Приготовления выноса тела в крепость идут своим чередом. Церемониал уже издан: не понимаю, как его можно будет исполнить в точности при настоящем холоде. Приезжие из Москвы свидетельствуют, что там все исполнено надежд и никто духом не упал, даже падение колокола объясняется в хорошую сторону. Равнодушие народа к событию такое же, как и здесь. Из губерний сведений никаких не имеется. Великий князь назначен министром по званию генерал-адмирала. Вчера был первый раз с докладом, и когда прибыл к государю, то в это время докладывал военный министр и великий князь не входил в кабинет, а остановился ожидать в приемной (при прежнем государе он имел право присутствовать при всех докладах). Император, узнав, что великий князь ожидает в приемной, вышел к нему, просил войти в кабинет и сказал, что просит его входить по-старому.

5-го марта. Сегодня похоронили государя в Петропавловском соборе. Я на церемонии не был, но вчера был на последней панихиде. Страшно было смотреть на лицо покойного, так оно изменилось: из величественного образа, над которым я восхищался в день кончины, осталась какая-то безобразная маска, наштукатуренная разными ядовитыми притираниями, которыми хотели остановить его от разложения.

С каждым днем слухи о твердости, уме и решительности нового императора все более и более подтверждаются. Речь его к дипломатическому корпусу ходит по рукам, она действительно очень хороша и, говорят, говорена с большим жаром и увлечением. Вчера я был с докладом у великого князя, в это время приехал государь и, по обыкновению семейному, пошел прямо в комнату детей, куда сошел к нему великий князь, как это делалось прежде. Из Москвы получены письма от Аксакова и др., все единогласно довольны манифестом и возлагают великие надежды на будущее.

Завтра, говорят, явится послание Синода с воззванием к народу на брань. Эта мера обличает решительность, которая, без сомнения, поведет к хорошему. Одним словом, все до сих пор идет прекрасно. Помоги Бог.

6-го марта. Воззвание Синода писано было еще по воле покойного государя. Им проект был утвержден, но не успели напечатать. После кончины государя нужно было сделать перемену в редакции. Воззвание было писано здесь и, сколько можно судить, разными лицами. Не думаю, чтобы оно произвело какое-нибудь впечатление.

Говорят, Ростовцев забирает силу.

10-го марта. Невольно ожидаем каждый день каких-нибудь действий, по которым бы можно было судить, чего ожидать от нового царствования. Беспорывные повторения приказов Ростовцева ставят всех в недоумение. Приказы эти один другого глупее и неприличнее. Плачевный тон их не скрывает отвратительной лести. Немало удивил всех также адрес Сумарокова, Веневитинова, Арбузова и Плаутина от имени гвардии Гренадерского корпуса. Сегодня я обедал у великой княгини, она нам ничего не могла сообщить особенно замечательного. По ее мнению, влияние Ростовцева будет самое вредное. Газеты полны всякими переименованиями полков и пожалованиями разных вещей в память покойного государя. Мелочей много, а дела еще нет. Сегодня ровно месяц, как царь скончался. Первый месяц царствования не ознаменовался никакими событиями ни в административном, ни в политическом отношениях. Ростовцев продолжает занимать публику своей персоной, издавая ни к селу ни к городу приказы в сентиментальном духе. По-видимому, это нравится, иначе господин этот изменил бы тон. Булгарин, у которого чутье тонкое, объявил в «Северной пчеле»²⁴, в фельетоне, что поступил в продажу портрет в Бозе почившего государя и генерал-адъютанта Ростовцева.

Все заняты теперь переменной формы обмундирования армии и флота. Уже приказ о новой форме вышел. Благомыслящие люди находят странным, как можно в такое время заниматься таким вздором и как можно теперь придумы-

вать новые издержки. К Святой²⁵ велели офицерам быть в новой форме. Из каких доходов заплатят они портным? По-видимому, перемена формы занимает очень государя, потому что все Военное ведомство хлопочет сильно. Еще при покойном государе, незадолго до его кончины, была речь о перемене формы, и даже некоторые образцы были утверждены, но покойный никак не соглашался дать генералам красные штаны, а войску двубортные полукафтаны. Наконец отложил все дело, сказав наследнику, что желает, чтобы его похоронили в прежней форме. Предчувствуя как будто свою смерть, он потом, умирая, напомнил свои слова наследнику, сказав ему: «Ты видишь, что я был прав, сказав тебе, что недолго тебе ждать для новых мундиров». Слова эти не отсрочили перемены, и она уже теперь не только утверждена, но и к приказу есть уже дополнение. Сегодня объявили, что в будни усы и бакенбарды не фабриць²⁶, а в праздник — фабриць и проч. ... Чтобы отдавать такие приказы, надо об этих мелочах думать, а думать о мелочах можно только тогда, когда важных забот не существует. Воображаю, с какой жадностью в провинции теперь ждут почты и газет; все надеются узнать какую-нибудь важную новость и всякому первому действию, по справедливости, придадут огромное значение. Не знаю, какое придадут значение этим мелочам. Меня удивил великий князь, который тоже немало тешится новыми мундирами. Эту странную любовь или почти мономанию к штанам и мундирам во всей царской фамилии можно отчасти объяснить воспитанием их и впечатлениями детства. Однажды великий князь, показывая свой музей, отворил старое бюро — там в ящиках открыл кучу изрисованной бумаги с изображениями разных фантастических мундиров и одеяний для войны. На мой вопрос, что это за рисунки, он отвечал мне, что, когда они были детьми, им задавали на задачу рисовать и сочинять разные мундиры. Тут же великий князь показал мне несколько строевых рапортов, объяснив, что в детстве у них были целые полки оловянных солдатиков, которых они строили в разном порядке и делали им смотры. Причем государь присутствовал и командовал, а они, как отдельные начальники, подавали ему строевые рапорты. Понятно, что впечатления детства сохраняются ими надолго, и вот почему, при первой возможности привести в исполнение давно задуманную перемену, забывается все, и дело ничтожное, по нашим понятиям, делается в их глазах важным.

До дел внутреннего управления юный государь²⁷, говорят, еще не касался. Министров внутренних дел и юстиции еще не принимал. Впрочем, преследование раскольников, кажется, остановлено, но это еще только отрицательная мера, которая, так же как крайности, может быть вредна, ибо кашу уже заварили. Сохрани Бог от каких-нибудь неудач в Крыму или в другом месте. Надежды на лучшее в будущем как-то начинают остывать во многих. Хотя теперь ни о чем нельзя верно судить, но вообще как-то сдается, что бабьи сплетни и придворные интриги будут играть важную роль.

27-го марта. Торжественный праздник Пасхи встречен был мною сегодня во дворце. По обыкновению, был выход. Пестрота мундиров была замечательная. Многие были в новой форме. Генералы — в красных панталонах. Вообще новая форма немного красивее прежней, но она до того всех занимает, что не-

вольно спрашиваем себя: неужели нет другого, более важного интереса? На меня это одурение производит страшное впечатление. Как ни старался себе объяснить и оправдать эту пустоту и мелочность занятий, все никак не понимаешь, как можно в такую страшную для России минуту думать о пустяках и забавляться ими. Ростовцев, со своей стороны, под шумок, все лезет да лезет. Сегодня он сделан членом Государственного совета и Комитета министров. О назначении этом много говорят, но, кажется, не придают ему много значения. По-моему, оно весьма важно, потому, во-первых, что оно доказывает силу временщика и потому, вероятно, что он теперь бросит свои военно-учебные заведения и начнет заниматься другим, т. е. входить во все дела управления. Быть может, это будет к лучшему даже, кто знает? Плаксивый тон его приказов и маска сентиментальности, быть может, были ему нужны как оружие. Как деятель, он, может быть, покажет себя с хорошей стороны. Посмотрим. По случаю известий, полученных из Вены о мирных переговорах, государь призвал к себе нескольких лиц: великого князя Константина Николаевича, Орлова, Блудова, Киселева, Нессельроде и, кажется, Долгорукова. Государь присутствовал. Как кажется, переговоры в Вене останавливались на третьем пункте, касательно владычества и сил наших на Черном море. Говорят, хотя согласиться на важные уступки, и честь России отстаивают только великий князь и Блудов. Князь Горчаков в Вене, по-видимому, также действует слабо. А между тем в Севастополе с часу на час ожидают сильной бомбардировки. Последняя сильная вылазка, известие о которой привез лейтенант Бирилев, хотя была для нас блистательна, но дорого стоила. Реляция об этом деле, присланная Горчаковым, написана очень хорошо, и в ней подробно описано все дело и отдана должная справедливость мужеству наших войск. В печати реляции все это выпущено. Какая может быть причина таких поступков со стороны Военного министерства? Точно нарочно, оно как будто желает скрыть от публики все то, что может служить к славе нашего оружия. Враги наши, ежели бы им поручено было делать экстракты из реляций для напечатания, не могли бы ничего лучшего придумать, как то, что делает Военное министерство.

Наград сегодня было немного — все отложено до 17-го апреля. Впрочем, все происходило по-старому, все гложет и все еще света не видать. Сбываются слова пророка: «Се Владыко Господь Саваофь отъимет от Иерусалима и от Иудей крепкого, крепкую крепость хлеба и крепость воды исполнена и крепкого и человека ратника и судию и пророка, смотревшего и старца. И пятидесятин Начальника и давнего Советника и Премудрого и разумного послушателя».

28-го марта. Сегодня утром я был у военного министра князя Долгорукова, чтобы условиться с ним по делу об исполнении духовного завещания графа Протасова, в котором мы с ним и Василием Александровичем Шереметевым назначены душеприказчиками. Поговорив о деле, он вдруг перешел к настоящим событиям и наивным тоном начал выражать мнение свое о безнадежном и отчаянном нашем положении. Меня изумили сильно такие речи от Долгорукова, который вообще чрезвычайно секретничает. Видимо, он находился под влиянием разговоров и суждений, слышанных им в Комитете, в котором он уча-

ствовал и о котором он говорил вчера. «В такие страшные и плачевные времена живем мы, — говорит он мне, — Невидимо исходу нашему положению. Хорошо тем, которые ничего обстоятельно не знают, судить и рядить, и толковать о могуществе России, о том, что мы непобедимы и проч. и проч. *Mais pour vous, qui sommes dans les affaires**, ужасное положение вещей не может быть тайной. Всему есть конец, и наши средства также каждый день уменьшаются. Что делать, надо признаться, что мы вовсе неготовы к такой долгой и упорной войне. Препрежнее время мы употребили не затем, чтобы укрепить себя, а напротив, мы уничтожили все силы наши, а теперь, когда пришло время действовать, не время создавать то, чего нет. Я не знаю, право, как все еще идет это и откуда берется. Мы никогда не думали, что можно содержать в Крыму лишнюю сотню казаков, а теперь там две кавалерийские дивизии, мы никогда не думали, что возможно было иметь в Крыму более 20 тысяч войска, а теперь там с лишком 100 тысяч. На всех пороховых заводах не могло выделяться более 80-ти тысяч пудов пороха, а теперь от меня требуют 400 тысяч. Селитренные заводы все уничтожены, серы также нет. Кое-как, быть может, усилив производство, я нынешний год добуду 200 тысяч пудов пороха, а потом? Все свои заведения мы в мирное время уничтожили. Для маневров, когда случилась нужда в ружьях, все выписывали из-за границы, а теперь от меня требуют вооружения. Откуда взять: государство теперь напрягает все усилия, жертвует всем, наконец и этому будет конец, всеобщее разорение. Теперь уже жалуются южные губернии, а скоро и все будут в том же положении. А между тем в обществе, в гостиных все кричат, что Россия сильна и могущественна, и эти толки и какие-нибудь записи Погодина имеют влияние на высшее правительство, *cela entrave la marche du gouvernement***, боятся общественного мнения и не решаются действовать решительно». Я прервал его, заметив, что естественно общественному мнению заблуждаться и находиться в приятном обольщении насчет славы России, тем более что это общественное мнение создано самим правительством, которое постоянно твердит нам одно: что мы непобедимы и могущественны, что у нас все есть и что все превосходно, что в особенности военная часть доведена до совершенства и что самая война произошла оттого, что все завидуют нашему могуществу. Что никто не смел и не смеет говорить противного и даже намекать на какие-либо упущения; что, наконец, и теперь статьи г. Булгарина не могут приготовить нас к этому неожиданному сюрпризу, который, по словам его, Долгорукова, скоро обнаружится. На это он возражал, что, конечно, это так, но что все-таки не следовало бы стесняться этим. «С другой стороны, — продолжал Долгоруков, — говорят о мире, но однако, есть условия, на которые невозможно соглашаться. Что делать? Надо будет защищаться и, хотя с палками, отбиваться — но все это ужасно и повлечет за собой всеобщее разорение». Слова Долгорукова очень меня поразили. Хотя много в них правды, однако тон, которым все это было говорено, выражал всю недостаточность его способностей и какое-то бабье отчаяние. Всего удивительнее казалось мне, как можно держать

* Но для нас, находящихся в курсе дел.

** Это препятствует действиям правительства.

человека, так мало способного, для энергических и разумных действий. Уверенность его в слабости России происходит вовсе не оттого, что он действительно знает во всей подробности ее средства и настоящее положение, а оттого, что он не видит у себя под рукой в министерстве, каким обычным формальным порядком сделать или добыть то или другое. Удивителен взгляд покойного государя при выборе людей ничтожных и с ограниченными способностями. Что мог он найти в Долгоруком, выдвинув его вдруг вперед из глуши? Приличный и благообразный человек этот много-много, если способен быть хорошим и исправным начальником отделения.

9-го апреля. Нарочно сегодня заехал я к Блудову, чтобы узнать от него что-нибудь о заседании Комитета, в котором и он присутствовал, и объяснить себе причину отчаяния Долгорукова. Из слов Блудова можно заключить, что Нессельроде и другие сильно настаивали на новых уступках, но он отстаивал и, говорят, великий князь Константин Николаевич тоже его поддерживал. Что решил государь — мне неизвестно; Блудов сказывал мне, что в порыве негодования он, Блудов, сказал Нессельроде — только не знаю, в Комитете или нет: «Monsieur le Comte, il me semble que vous oubliez, que derrière nous est la Russie, qui ne fait pas bon marche de son honneurs. Gade à vous si jamais elle venait se rappeler à votre souvenir»*. Для Нессельроде и компании всякий мир был бы хорош, лишь бы чем-нибудь покончить и удрать за границу. Сейчас я получил телеграфную депешу от брата Михаила; он извещает меня, что батюшка серьезно болен, страдает спазматическим удушьем по ночам и зовет меня в Москву. Я сейчас был у Головнина и просил его выпросить у великого князя для меня отпуск на несколько дней.

Апрель. Сегодня я приехал из Москвы. Батюшку оставил, благодаря Бога, совершенно здоровым почти, по-видимому, удушье, которым он страдал, было не что иное, как геморроидальные припадки. Но вообще он немного слаб и много с некоторого времени опустился. Моему приезду он был очень рад — никогда я не имел столько доказательств нежной любви его ко мне, как в этот мой приезд. Из слов его можно видеть, какая в нем чистая душа и как он готов встретить смерть, но он еще так нужен семейству, что Бог сохранит его для счастья всех нас. В воскресенье была свадьба Шестакова, он женился на Надежке Михайловской и завтра приезжает сюда. В Москве так интересуются тем, что делается в Вене и в Крыму, что со всех сторон завалили меня вопросами, я к ним не был приготовлен, потому что выехал из Петербурга тогда, когда всеобщее внимание было обращено на мундиры. В Москве также мундиры и приказ Ростовцева смутили всех тех, которые питали великие надежды. Интерес москвичей имеет совершенно отличный характер от петербургских жителей. В Москве язвы, наносимые России, чувствуются, а в Петербурге смотрят на них издали, и хотя сострадают, но это сострадание далеко не так сильно,

* Граф, Вы, кажется, забыли, что позади нас Россия, честию которой не следует торговать. Берегитесь, как бы она Вам о себе не напомнила .

1855 год

как само страдание. Дядюшка князь Иван Петрович очень хорошо выразил одним словом то, что почувствовало большинство при известии о смерти государя. Видя батюшку весьма опечаленным и в слезах от полученного известия, он спокойно, потирая нос по привычке, сказал: «Что ж, милый, — было со всячинкой. Хуже не будет. Авось, будет и лучше».

13-го апреля. Сегодня получено телеграфное известие о том, что союзники начали сильную бомбардировку Севастополя. Потеря наша в один день с лишком 800 человек. Чем это кончится, Бог знает. Говорят, в Вену послано Горчакову приказание не соглашаться ни на какие новые уступки. Вследствие этого, вероятно, переговоры будут прерваны.

Апрель. Бомбардирование продолжается²⁸. У нас ощущается недостаток в порохе. К чему была вся эта праздная защита? К чему пролито столько крови, если придется оставить Севастополь за неимением пороха? Кто виноват? Никто и все. Винить одних настоящих деятелей — нельзя. Тридцать лет спали, и вдруг, спросонку, всего невозможно сделать. Средства одного министерства недостаточны, ежели бы нужды важные были известны хотя отчасти, в России нашлись бы средства помочь им. Какой к р о в а в ы й урок администрации...

7-го мая. Дневник мой прерван был несчастным событием — батюшка скончался 15-го апреля. 13-го числа я получил из Москвы от брата Михаила две телеграфные депеши. В первой он извещает, что этого числа, утром, батюшка поражен был апоплексическим ударом — отнялась правая рука и язык, но еще жив. Во второй сказано, что батюшка в памяти и что ежели скоро соберется — можно еще застать. Медлить было нечего; мы сейчас с женой решили отправиться на другой день в Москву. Я просил Головнина доложить великому князю о постигшем меня несчастье и просил отпуска. На другой день получил от великого князя разрешение и пустился в путь. В Москву прибыл 15-го числа. На станции встретил нас брат Михаил и объявил, что, когда оставил дом, батюшка еще был жив, но что не знает, застанем ли его, потому что доктора не отвечают ни за минуту. С невыразимым чувством скорби отправился я с женой на Солянку. Меня ввели в комнату, где лежал умирающий. Не мог я скрыть рыданий при виде едва движущегося батюшки, бросился целовать его, и он, как казался до того без сознания, видимо, узнал меня, громко зарыдал и, будучи без языка, выказал мне чувства свои прижиманием руки. Надежды на спасение не было никакой. Дыхание было затруднительное, и постоянное усыпление прерывалось только на минуту, и в эти минуты он оглядывал всех ангельским своим взглядом и доказывал тем, что сознание в нем существует. Иногда даже приветливой улыбкой приветствовал подходящего к нему. Борьба жизни со смертью была довольно продолжительна. Несколько раз казалось, что наступает последняя минута. Дыхание становилось редким, и вслед за сим пульс поднимался и силы возвращались. Накануне моего приезда он приобщался и соборовался. Все семейство окружало постель — доставало одного брата Василия, который не мог быть извещен вовремя. Обстоятельства кончины столь торже-

ственной патриарха такого огромного семейства видимыми знаками свидетельствовали, что отходит праведник, удостоенный христианской кончины. Дети, внуки, внучата, племянники и племянницы толпились кругом кровати. Один из нас читал вслух молитвенник, все прочие молились, двери в другие комнаты отперты, там постоянно находились другие родственники, т. е. почти вся Москва. Все плакали не из приличия, а от души. Скорбели, что отходит человек, каких уже больше нет, — олицетворенная любовь и пламенное сердце. Затруднительное дыхание, видимо, временами мучило больного. Все молили Бога, чтобы облегчил и скорее прекратил страдания его. К вечеру пульс сильно упал, но потом сильно поднялся. Всю ночь я просидел у него на кровати. Он узнавал меня, клал мне руку на голову и ласкал ее, то же делал и с другими братьями. К утру дыхание стало делаться хуже, доктор сказал мне, что надо разбудить всех тех, которые в соседней комнате уснули, ибо конец приближается. Действительно, упадок сил предвещал последнюю минуту. Все стали на колени, все молились. Тишина прерывалась только дыханием, с каждой минутой становившимся все реже и реже. Наконец, в 8 часов пополудни, последний вздох унес эту ангельскую душу праведника. Блаженны чистии и сердцем, яко тии Бога узрят. Как ни любил я батюшку при жизни, как ни ценил его высокие душевные качества, но вся моя любовь не могла сравниться с его любовью ко мне. Он не скрывал того, что расположен ко мне нежнее, чем к другим. Душевные его качества сделались, в особенности для нас, ясны по прочтении нескольких отрывков из его дневника, в котором он писал душевную свою исповедь. Высокое его христианское и религиозное настроение за последние 10 или 15 лет не были для нас тайною, стоит перечесть только все собрание его писем, чтобы убедиться, что человек этот весь в Боге. Из дневника же его видно, какая борьба духовная происходила в нем, как он мученически распинал себя и старался совершенствоваться духовно. Никакая проповедь не может сравниться с сими немногими оставшимися, как будто уроком для нас, строками. Как можно нам после этого сомневаться в том, что он с праведниками сопричтен и удостоен вечного блаженства? Нам дан Богом живой пример подражания. Он обязывает нас следовать Ему. Дай Бог силы в немощи... На другой день я получил письмо, возвращенное мне из Петербурга, писанное батюшкой, можно сказать, за несколько минут до удара. Оно заключает мое собрание писем. Из этого письма видно, в каком христианском настроении застал его последний час. С утра до ночи совершались при теле покойного панихиды. Все заведения, над которыми батюшка начальствовал, приходили поочередно, в воспитанниках заметна была искренняя печаль. Печальный обряд отпевания был в церкви Воспитательного дома. Потом вынесли тело за заставу, где положили в жестяной гроб, повезли в Калугу и похоронили рядом с матушкой и сестрой Зубовой. Я не мог сопровождать тело, потому что по служебным делам должен был немедленно отправиться в Петербург. Когда-нибудь, на досуге, изложу подробно воспоминания мои о покойном батюшке. Он был один из тех людей, которые мирят со всем человечеством. Сохранить до конца такую теплоту чувств и такое любящее сердце дано немногим. Как выражались эти высоконравственные качества в жизни, и в особенности в быту служебном?

Воспоминания о нем. Никогда не примирялся он с бесправным приговором формы: в каждом мнении его по делу слышен был человек, ищущий правды, справедливости, и неохотно подчинял себя ярму законности, когда чувствовал, что закон мертв и несправедлив. Будучи начальником богоугодных заведений, он понимал призвание свое и тех, с кем он имел дело. «Какой тут закон, — говаривал он, — в деле милосердия, как можно подвести под правило все видоизменения несчастных случайностей, которым надлежит помогать во имя Божие». С такими взглядами на дело часто возмущало его безжизненное чиновническое направление, с которым он должен был бороться в Совете и в Сенате. В нем не очерствело сердце, несмотря на долговременную службу, до того, чтобы быть спокойным свидетелем несправедливости, прикрытой предлогом законности. Справедливо замечал он, что все сослуживцы его ищут в просьбе члобитчика не средство исполнять просьбу — средство отказать. Нельзя было без сердечного умиления смотреть, как он принимал просителей, в особенности вдов, каждый день к нему являвшихся с сиротами. Когда не находил он возможности помочь им, то плакал вместе с ними, обнимал и ласкал детей, так что видимо сострадал несчастью своего ближнего. Благодарю Бога, что сохранил все письма подлинные ко мне батюшки. С самого моего детства в них слышится та душа, которая теперь, без сомнения, наслаждается по делам своим.

На другой день, после выезда наших из Москвы, мы с Доленькой²⁹ отправились в Петербург. Перед отъездом мы, братья, переговорили об устройстве дел и о том, как продолжать жить всему семейству. Батюшка оставил духовное завещание, в котором оставил мне единственную свою деревню, в которой считалось 420 душ. Имение это ценил он в 75 тысяч рублей, на нем долгу казенного 20 тысяч, и, кроме того, назначил мне произвести выдачу брату Юрию, сестре Грушеньке, Евреиновым и, кроме того, другим лицам еще так, что собственно моя часть в сем имении простиралась до 10 тысяч рублей. Чтобы оставить имение за собой, я должен был выкупить его, т. е. заплатить всем, кому следует. Для этого у меня нет денег, и между тем желал бы сохранить имение, как для того, чтобы исполнить желание батюшки, так и для того, чтобы иметь свой участок. Поэтому мы положили, чтобы имение оставалось принадлежностью всего семейства до тех пор, пока я не найду средств выкупить оное. Управлять будет имением княгиня Наталия Петровна, по доверенности от меня, и доходы употреблять так, как они употреблялись при батюшке, т. е. на содержание семейства. Брата Юрия предполагал с женой перевести жить на Солянку. Его положение весьма тягостно, и оно сильно беспокоило в последнее время папеньку. С 6-ю тысячами ассигнаций жить ему трудно. Ко всему этому прибавляется беспокойство за маленькую девочку, здоровье ее очень ненадежно, да и жена его тоже слаба. Сам он потерялся в этих обстоятельствах и так как по природе весьма порывист, то и не нашел еще твердого пути, не спотыкаясь. Для уплаты его долгов мы полагаем заложить дом. Дай Бог, чтобы все предположения наши осуществились, они основаны на взаимной нашей братской любви и желании жить в согласии и помогать друг другу. Правда и то, что делить-то нам нечего. Доброе имя, оставленное нам папенькой, нераздельно перешло к нам ко всем, и от нас зависит сохранить его. В Петер-

бурге я нашел все по-старому и опять принялся за департаментские дела и от ощущений душевных перешел незаметно к другим, совершенно им противоположного рода. Возобновившееся в Севастополе бомбардирование возбудило во всех справедливое беспокойство, в особенности потому, что положительно сделалось известным, что ощущается у нас большой недостаток в порохе, так что на каждые 10 или более неприятельских выстрелов мы отвечаем только одним. Потери наши в людях простираются каждый день до 1 тыс. человек. Наконец, и это новое испытание Севастополь выдержал. Между тем Венские конференции ежели еще не совсем прерваны, то по крайней мере прекратились вследствие отказа нашего от условия, предложенного нам западными державами. Австрия опять начинает юлить и не поддается ни на ту ни на другую сторону, видимо, желает остаться нейтральной, по крайней мере до окончания вопроса севастопольского. Относительно же внутреннего управления ничего нового не слыхать и не видеть. Все то же и то же. Ожидаемые перемены в министерстве — удаление Бибикова и Клейнмихеля и проч. — не осуществились. Мундирами еще продолжают заниматься, и света пока еще ниоткуда не видеть. Подняли опять вопрос об инвентарях; велено рассмотреть в Государственном совете; не верю, чтобы из этого вышло что-нибудь дельное: «Не можно вливать вино новое в меха старые».

13-го мая. На сих днях приехала сюда супруга князя Михаила Дмитриевича Горчакова³⁰ и остановилась у нас. Она, разумеется, в большом беспокойстве насчет мужа. Севастополю грозит большая опасность — войска неприятельские прибывают в огромном числе, а у нас подкреплений нет. Отчего? Оттого, что никакой мысли и определенного плана не существует, это видно из всех распоряжений настоящей войны. Всегда одна и та же история. Говорят, наши войска пошлют дивизию или две, а засим объявляют, что уже неоткуда взять и послать нечего. Приходится плохо. Опять находят средства и посылают, но войско это приходит обыкновенно слишком поздно. То же самое и теперь: Горчаков, когда поехал в Крым, отправил две дивизии. Дивизии эти пришли, и засим никто и не думает приготовить новые подкрепления, а начнут пороть горячку, когда будет поздно. Зачем держать войско в Бессарабии? Боятся австрийцев — да пускай их сидят в Бессарабии, ее мы назад возьмем, а с Крымом придется проститься. Важность Севастополя как будто не довольно оценена. Все делается без мысли, без определенного плана. Князь Меншиков приехал в Петербург, многие ожидали, что он заговорит и представит оправдание своих действий, которые откроют настоящую картину неустойств и неспособности Военного министерства. Но, по-видимому, он молчит, говорят, был принят очень хорошо и весьма доволен своим положением. Впрочем, на днях отправляется в деревню. Про Долгорукова говорят, что он сказал, что он пороку не нюхал, пороку не выдумал и пороку не послал в Севастополь. До того теперь сделался мелок народ, что для интриг даже недостает ни характеров, ни умения. Прежние придворные интриги обличали все-таки в интриганстве некоторые сильные страсти, хитрость, ловкость, а теперь и Аракчеев невозможен. Личная ничтожность на всех ступенях и на всех поприщах, но в массе все то же величие и та же

твердость. Доказательством служит Севастополь. Все 100 с лишком тысяч там герои. Справедливо говорит Хомяков, что русский человек, который попадет в рай, пойдет туда не один, а так — целою волостью или общиной.

25-го мая. Дела наши в Крыму ежедневно становятся хуже: союзники собрали под Севастополем около 300 тысяч войск, а ряды наших героев с каждым днем рedeют и подкрепления не идут. Взятие без боя Керчи и занятие Азовского моря всех поразило. По-видимому, наши стратеги не считали Керчь очень важным пунктом, тогда как он есть ключ Азовского моря, охранять берега которого нет никакой возможности. И теперь неприятель сжег без милосердия в Бердянске, Геничеве и др. портах все частные и казенные запасы, на Арабате и Геничеве, говорят, много казенного хлеба, приготовленного для армии. Видно, считали Азовское море недоступным неприятелю, если решились устраивать склады в местах неукрепленных. Гарнизон севастопольский, вероятно, не сдастся и ляжет костями, но что будет с армией, ежели она по необходимости должна уступить большинству и ежели ей отнимут возможность отступать? Кажется, решительная минута для Крыма приближается. Много прольется крови. Ежели не силою оружия получим мы его обратно, то силою обстоятельств, ибо когда дело дойдет до дележа, возбудится вопрос, кому его отдать, тогда увидят, что никому другому, кроме России, он принадлежать не может...

Союзный флот вот уже несколько дней стоит перед Кронштадтом, но ничего до сих пор не предпринимает и вряд ли что-нибудь предпримет. Цель неприятеля — содержать строгую блокаду и отвлекать наши силы, и эта цель им достигнута вполне. В Морском министерстве последовала на сих днях существенная перемена. Вице-адмирал Врангель назначен управляющим Морским министерством под высшим надзором великого князя. Никто не ожидал этого назначения, которое, в сущности, может быть хорошо. Великий князь, по-видимому, хочет сложить с себя всю хозяйственную часть министерства, чтобы иметь время заняться существенным преобразованием духа и устройством флота. С другой стороны, говорят, на днях должен выйти манифест о регентстве на случай кончины государя и малолетства наследника. Великий князь назначается регентом, а потому, быть может, государь захочет, чтобы он присутствовал при докладах министров и чаще ездил в Государственный совет, одним словом — принимал бы участие в общих делах. Хорошо, ежели бы было это так. Впрочем, сомнительно, чтобы об этом серьезно думали, ибо до сих пор не видать и не слышать ничего утешительного насчет предположений нового царствования, относительно внутреннего управления государством. Все идет по-старому, как машина, которая бессознательно вертится от данного толчка. Вчера из переговора с великой княгиней я узнал, что новая императрица мало имеет влияния и что вообще инициативы от нее ожидать нельзя. Я сам это думал. Люди, которые упорно надеялись на новое царствование, начинают приходить к убеждению, что напрасны были их надежды и что не избрал еще Бог своего оружия для разрешения всех возбужденных вопросов, т. е. для указания нам правого пути, от которого ушли далеко. Приближается время горьких испытаний, не видно конца им, «быть тут чуду, быть тут чуду».

31-го мая. Сегодня получено известие, что союзники штурмом, после бомбардирования, заняли передовые наши укрепления: Селенгинские, Волынские и Камчатский редуты. Кровь льется рекою. С обеих сторон потери страшные. Видимо, приходит последний час Севастополя. Неприятель действует решительно, с ясным сознанием своей цели. Мы противопоставляем ему геройскую храбрость солдат и совершенную неспособность главных начальников. Впрочем, я нимало не думаю обвинять в неудаче князя Горчакова, он принял начальство в самую трудную минуту, когда дела наши были совершенно испорчены, и с тех пор огняты у него все средства действовать решительно, то нет пороха, то нет войска — из этого положения он не выходит. История отдаст ему справедливость, что он жертвовал своей личностью на благо отечества и под Севастополем, так же как под Силистрией, безропотно переносил самые ужасные нравственные мучения. Войска, которые могли бы помочь ему, придут слишком поздно. Все распоряжения, которые зависят от здешних властей, делаются слишком поздно с самого начала кампании и до сих пор. Когда нет определенной цели — нет плана и не решено, какие пункты в стратегическом и политическом отношении важнее других, то нельзя и ожидать своевременных и дельных распоряжений. В Азовском море не только разрушена Керчь, но сожжен Бердянск, Геничев и г. Таганрог. В Таганроге, впрочем, неприятель встретил неожиданный отпор. Граф Егор Петрович Толстой там градоначальником и вместе с генералом Красновым они отличились. Собрав, Бог весть откуда, горсть солдат и вооружив жителей наскоро, они выдержали страшную 6-часовую бомбардировку и прогнали неприятельский десант. Я душевно рад за Толстого, которого уважаю и люблю как отличного, честного человека. Жена его с дочерью во время бомбардирования выехали за город.

На днях вышел манифест о регентстве³¹. Великого князя Константина Николаевича назначили правителем на случай малолетства наследника. Лишняя предосторожность не мешает. Хотя я уверен, что местами народ не поймет, в чем дело, и выйдет недоразумение, тем более что многие в простом народе уверены, что царствовать должен Константин, потому что он порфирородный. Что-то Господь судил России в будущем?.. Много надо труда, силы и гения, чтобы вывести ее на свежий воздух. Внешние удары, быть может, суть ступени к совершенствованию. «За битого двух небитых дают» — говорит пословица.

7-го июня. На днях я был в Кронштадте. Союзный флот стоит верстах в 10-ти, в числе более 10-ти вымпелов. Получено известие из Киля, что еще английская эскадра вошла в Финский залив, при ней более 10-ти бомбардиров. Вероятно, неприятель решился что-нибудь предпринять против Кронштадта. Говорят, Кронштадт укреплен сильно за северный фарватер, хотя и есть некоторое опасение, но полагают, что и тут неприятелю ничего нельзя сделать.

Велено готовить в Петербурге временные лазареты для раненых на 2000 человек. Вся главная обязанность снабжения госпиталей лежит на мне, и я теперь этим делом очень занят. До сих пор еще в Кронштадте нет главного начальника, которому бы поручено было командование всеми силами — сухопутными и морскими. Не понимаю, как это будет, когда дело дойдет до боя.

Великий князь командует, как генерал-адмирал, флотами, а генерал Ден, в качестве генерал-губернатора, — сухопутными войсками, но один другому не подчинен. Единства действий при таком порядке ожидать нельзя. Старик Ден насилу ходит, жалуется на распоряжения департаментов Военного министерства. Не думаю, чтобы он был способен действовать с должною энергией в критическую минуту.

10-го июня. Сегодня я ездил в Кронштадт и на Лисий Нос. Великий князь поднял брант-вымпел³² на «Рюрике» и не съезжает с парохода. Неприятельский флот стоит ближе прежнего, в особенности на северном фарватере. Видимо, что усилия его будут направлены в эту сторону.

Я проводил жену и детей в Москву, а вечером был на Каменном Острове, где передал великой княгине записку генерала Мельникова о железных дорогах в России... Записка, по моему мнению, очень дельная, и предлагаемые Мельниковым меры к устройству в России железных дорог — весьма исполнимы. Но никакого успеха нельзя ожидать до тех пор, пока Клейнмихель будет главноуправляющим. Этот человек — бич для России. Всеобщие надежды на падение его с переменой царствования не сбылись, равно как и другие надежды, — до сих пор люди остались все те же, и к прежней их неспособности прибавилась еще совершенная апатия, ибо не стало уже более главной побудительной причины их деятельности — страха. Изумителен, право, этот необыкновенный застой во всех делах; он живо напоминает мне последнюю сцену «Ревизора» Гоголя и это оцепенение, которое овладевает всеми действующими лицами в ту минуту, когда объявили, что явился настоящий ревизор и требует их к ответу. Настоящие события и суть этот ревизор; они обличают все прошедшее, как они восклицают: «А кто у вас здесь Ляпкин-Тяпкин? А подавай сюда Ляпкина-Тяпкина!». Трудно в настоящее время найти людей, которые бы обрекли себя на бездействие, худо ли, хорошо ли, но всякий из нас желал бы иметь власть, чтобы бы стал делать, чтобы помогать общему делу и поправлять обнаруженные ошибки, а тут нет ничего — все по-старому. Видно, в волях провидения нужно это бездействие в такую кипящую минуту, чтобы события совершались сами собой, без признака участия человеческой воли. Бог не без цели устраивает это так. В Европе, наоборот, настоящие события возбудили во всех правительствах страшную деятельность, чего-чего не замышляют и не делают для исправления обнаруженных неустойств и совершенствования всех учреждений, но все это — дело рук человеческих.

26-го июня. Удачно отбитый первый штурм в Севастополе очень всех обрадовал, потеря неприятеля неимоверна — более 10 тыс. человек, с нашей стороны выбило много во время бомбардирования, ужаснее которого еще не было. Эта первая удача сильно возвысила дух гарнизона. Что это за собрание героев... Вот что значит русский человек, когда от него требуется самоотвержение и когда он видит, что спасает родную землю... С известием об отбитии штурма приехал Аркадий Столыпин; он говорит, что положение Севастополя, несмотря на последнюю удачу, весьма опасно. Недостаток у нас и в людях, и в порохе. Не-

приятель также, по-видимому, не имеет во всем полного довольствия и, кроме того, так же, как и мы, делает ошибки, и это объясняет причину целости Севастополя. Говорят, войска из Польши двинуты на восток и резервы мало-помалу будут подходить в Крым, но все это будет недостаточно для наступательного движения с нашей стороны, т. е. для чего-нибудь решительного.

Моряков в Севастополе осталось немного, и число их с каждым днем уменьшается. О них по крайней мере усердно заботятся и делают для раненых и для семейств убитых более чем возможно. Это поистине приносит честь великому князю, и я счастлив, что все эти благодеяния делаются через мое посредство. Мне удалось также быть полезным и для сухопутных: однажды, в разговоре с великой княгиней, я сказал ей, что хотя награда, дарованная Севастопольскому гарнизону покойным государем, на основании коей каждый месяц засчитывается за год службы, и наделал в свое время много шуму, но, в сущности, этими наградами немногие воспользуются, ибо большая часть гарнизона, вероятно, погибнет, или, за ранами, сделается неспособной продолжать службу, а чтобы иметь возможность воспользоваться пенсией, нужно будет хлопотать, вероятно, очень долго. Между тем теперь несчастные армейские офицеры, сколько мне известно, крайне нуждаются в насущном пропитании, ибо, получая маленькое жалование, не имеют возможности покупать припасы по дорогой цене в Севастополе. Великую княгиню поразили этот факт, и она поразилась, как до сих пор Военное министерство не подумало. Вследствие сего она принялась хлопотать, уговорила военного министра просить у государя пособие для офицеров Крымской армии и дала ему мысль сделать его к 25-му числу, т. е. ко дню рождения покойного государя. На днях великая княгиня с торжеством и радостью показала мне письмо военного министра, в котором он извещает ее, что всем штаб- и обер-офицерам в Крыму велено производить столовые деньги, о чем послана князю Горчакову телеграфная депеша. Странно, что нужно было постороннее вмешательство, чтобы возбудить этот вопрос. Профессор Пирогов вернулся из Крыма, потому что, не имея там официального значения и власти, он не мог действовать решительно, как того требуют обстоятельства. Мансуров пишет, что после его отъезда неурядица в медицинском отношении достигла высшей степени. Беспорядки при устройстве и перемещении госпиталей могут быть устранены только хорошим и деятельным администратором, который бы имел власть и не опасался бы мелочной ответственности. В обществе укоряют провиантскую, комиссариатскую, госпитальную часть армии за мошенничество и уверяют, что причиною всего мошенничества лиц, на которых возложено снабжение армии. Я не думаю, чтобы это обвинение было совершенно справедливо, причина всех неурядиц другая. Нельзя предполагать, чтобы везде и все были мошенники. Главное дело состоит в том, что в течение 30-ти лет всемерно старались подавить и уничтожить всякую разумную деятельность, как в массе, так и отдельно в каждом. От деятелей требовалось одно беспрекословное исполнение, могли ли при этих условиях образоваться администраторы... Привычка ожидать точного приказа от начальства по всем инстанциям не позволяет действовать безотлагательно и предупреждать беспорядки, которые мы видим в Крыму: больные остаются без питья и пищи по целым суткам совсем не отто-

го, что хлеб и водка, которая для них отпускается, была бы украдена, а оттого, что начальство, о котором даже и тогда весьма трудно узнать, из кого оно состоит, не дало приказа, чтобы хлеб и вино было приготовлено, а без приказа того неопределенного начальства никто не считает себя вправе спасти умирающего. Пирогов согласен воротиться в Севастополь, но с тем, чтобы ему дали неограниченную власть распоряжаться всей медицинской частью в Крыму. Об исполнении сего требования великая княгиня очень хлопочет, великий князь Константин Николаевич также, и, вероятно, это дело уладится.

Замечательно, что до сих пор государь не выразил даже желания видеть Пирогова, который так долго был в Севастополе и так там был полезен. Из одного любопытства можно было бы с ним поговорить. Вообще, к несчастью, незаметно в государе не только собственной инициативы ни в чем, но даже не видать никакой восприимчивости, и потому до сих пор, кажется, никто не имеет никакого влияния, ибо никто не может его снискать. Даже Ростовцев, который сначала более всех выдвинулся вперед, стоит во тьме, и о нем ничего до сих пор не слыхать. Ни в слове, ни в действии не видать намека на мысль — рабское подражание старому, более ничего. Доклады министров посылаются, как и прежде, точно так же и в тех же листах ставятся карандашом знаки, также редакция резолюций. О перемене в личном составе министерства, по которой можно было бы хотя бы приблизительно судить о каком-нибудь новом направлении, давно уже перестали говорить. Странное состояние... великая княгиня говорила мне, что неспособность превзошла ее ожидания по поводу записки Мельникова и предложении американцев о железных дорогах. Они хотели с ним говорить и обратить его внимание на этот важный предмет, но встретили вместо сочувствия, полное и совершенное равнодушие и как бы досаду за неуместное вмешательство. Точно так же рассказал мне старик князь Шаховской; избрав удобную и совершенно свободную минуту, он, как начальник петербургского ополчения, заговорил вообще об ополчениях и о значении их; о том, какую от него можно ожидать пользу и как следует его употреблять. Он думал, что слова опытного генерала, участвовавшего в стольких сражениях и знакомого с духом русского народа и войска, возбудят какое-нибудь участие и вызовут объяснение. Но слова его были приняты совершенно равнодушно, разговор не поддержался, и старик перестал говорить, заметя, что говорил в пустыне. Жена, вопреки ожиданиям, не имеет никакого влияния.

Сегодня, по случаю именин великой княгини Александры Иосифовны, я был в Стрельне³³, где собралась вся фамилия³⁴ и весь двор к обедне.

Немцев и немок видимо-невидимо, и своих, и чужих. Начинают говорить об отъезде вдовствующей императрицы в Берлин, а оттуда в Палермо на зиму. Признаюсь, мне не верится, чтобы до такой степени дошел цинизм и пренебрежение всяким приличием. Впрочем, когда видишь эту придворную челядь, все становится возможным. Невольно спрашиваешь себя, что может быть общего между этими господами и Россией. Не говоря уже о фрейлинах: Тизенгаузен, Раух и проч. и проч. ..., стоит только посмотреть на какого-нибудь Апраксина, Шувалова, Кочубея и проч. и проч., чтобы видеть, что эти лакеи способны на всякую пакость и готовы сами внушить мысль самую безобразную, а в настоя-

шее время даже изменническую. Я уверен, что, если поездка эта осуществится, то ей дадут значение политическое, затем-де, чтобы попросить братца нас миловать, а в Италии тоже будут очень рады. Ведь уверяла же фрейлина Бартенева, что ежели бы императрица оставалась в Палермо в 1847-м году, то там бы не было возмущения.

На днях я был в Кронштадте вечером и пил чай на «Рюрике» у великого князя, тут, благодаря Бога, другой совсем дух и другое направление. Он занят делом, встает в 6 часов, пьет чай в кают-компании, потом занимается; в час обедает со всем своим штабом и с приглашенными к обеду адмиралами; после обеда, за чашкою кофе и с сигарой, идет беседа, иногда жаркие споры, большею частью о спорном деле. Такие разговоры весьма полезны, приличие и уважение к особе не стесняет свободы движений и мысли; после обеда — занятия, учение и смотры; в 8 часов — чай и опять болтовня, а потом — спать. Этот образ жизни, кажется, ему очень нравится. Кругом «Рюрика» стоят винтовые канонерские лодки, на всем рейде их около 40. Изумительно, что в морском отношении у нас сделано в течение двух лет... Вот что значит ум и энергическая воля.

Смотря на лодки, я сказал великому князю: «Весело смотреть, Ваше Высочество, на эту флотилию, когда вспомнишь, из чего и как это все родилось».

«Действительно весело, — отвечает он мне, — в особенности Шестакову, Лисянскому и мне, которые сами работали». При этом я напомнил ему, что первая мысль этих лодок вышла от меня; действительно, вот как это было.

В прошедшем году, в мае месяце, разговорился я с господином Бенардаки, с которым имел дело по случаю доставки в Петербург антрацита, о винтовых кораблях. Бенардаки, у которого есть машинная фабрика в Нижнем, сказал мне, что хочет попробовать делать винтовые машины для кораблей. Я же стал ему советовать предложить правительству маленькие машины для лодок, ибо я был уверен, что рано или поздно увидят необходимость иметь винтовые лодки и что их теперь не строят потому, вероятно, что не полагают возможным строить машины в России. Бенардаки принял мою мысль и написал об этом своему директору завода, который вслед за сим уведомил его, что он берется к маю месяцу будущего года построить 20 машин. Бенардаки объявил это мне, я советовал ему дать мне записку, что он и исполнил. Записку эту я послал к великому князю и в этот же день получил следующий ответ: «Прекрасная мысль. Поручено князю Оболенскому спросить у Бенардаки, что он возьмет за силу». Отзыв Бенардаки, в котором он назначил примерно от 300 до 350 рублей за силу, я представил великому князю, а он доложил государю. Государь утвердил мысль, но нашел просимую цену высокою и велел составить смету и чертежи. Вследствие чего вызван был из Финляндии адмирал Шанц. Ему и Шестакову поручил великий князь сделать чертежи и построить для опыта лодки. Осенью лодки были готовы, и сделанная Шестаковым была одобрена. Вследствие сего приступлено зимой к закладке 40 лодок, которые ныне уже в действии. Механизмы деланы в разных заводах в Петербурге, а Бенардаки тогда же от постройки отказался, потому что ставил непременно условием получить заказ прежде августа, чтобы иметь возможность закупить материалов на Нижегородской ярмарке.

15-го июля. Проект Мельникова³⁵ о железных дорогах доставлен мною, через посредство Головнина, великому князю, который прочел оный и, по-видимому, совершенно согласен в главных основаниях сего проекта. Он приказал было послать его графу Орлову как председателю Комитета о железных дорогах, но потом, призвав к себе Мельникова и убедясь из слов его, что этим путем нельзя ожидать успеха, до тех пор пока Клейнмихель будет во главе Управления, он обещал свое содействие в том случае, ежели предлагаемая Мельниковым компания составитя. Действовать же открыто и прямо ходатайствовать перед государем о деле другого ведомства он не решается, вероятно, не надеясь на успех. Между тем, несмотря на ожидаемое всеми падение Клейнмихеля с переменною царствования, он держится, и не только держится, но и, по-видимому, в милости. Это упорство — поддерживать людей, оклеянных всеобщим презрением, и о которых, бывши наследником, государь сам был весьма дурного мнения, можно объяснить каким-то слепым и безмерным уважением к памяти почившего отца.

Тютчев справедливо заметил, что император Александр Николаевич решил сохранить Россию на память о покойном своем батюшке так точно, как он сохранил его кабинет в таком виде, как он был при покойном всякая вещь на прежнем месте. Это замечание верно, и оно оправдывается. Между тем потребность энергической деятельности начинает чувствоваться всеми, со всех сторон начинают жаловаться и осуждать апатию, в которой находится все правительство.

Кроме внутренней неурядицы, возникают семена раздоров между членами императорской фамилии, где порядок и благочиние поддерживалось страхом к главе семейства. Теперь этого спасительного страха нет, и в будущем я вижу грозные тучи. Теперь уже начинают громко говорить о том, что великая княжна Мария Николаевна обвенчана с графом Строгановым. Я слышал об этом еще в прошлом году, в то время, когда свадьба эта действительно совершилась, но не вполне доверял этому слуху, впрочем, сам Строганов вскоре своим поведением убедил меня в справедливости слуха. Он всегда был, что называется, кутила и таскался по всем публичным местам, везде имея приятелей и знакомых; со всеми был на «ты». Но в год своей женитьбы он, вероятно для отклонения всяких подозрений, вел себя еще распутнее; не было попойки, в которой бы он не участвовал; не было гулянья или танц-класса, в котором бы он не отличался. Говорят, покойный государь не знал об этой свадьбе, что, впрочем, весьма трудно предположить. Не мог он не знать об их любовной связи, и вряд ли решились бы лица, которые обязаны были об этом сказать государю, скрыть от него совершившийся брак. Случайное открытие этой тайны могло бы их уничтожить. Александр Николаевич положительно об этом знал и, говорят, присутствовал при венчании. Татьяна Борисовна Потемкина тоже об этом хлопотала, вероятно, с целью спасти от греха. Что же касается до матери, т. е. императрицы Александры Федоровны, то она действительно о свадьбе не знала, и ей это объявили недавно. Как бы то ни было, а при теперешних обстоятельствах и при наших понятиях о дворе это событие имеет важное значение. Строганов избран в Полтавскую губернию командиром какого-то вновь формируемого дво-

рянством казачьего полка, отправляется скоро к месту своего назначения. Куда ни взглянешь, везде видишь начало разрушения, при первом малейшем колебании — вся машина полетит, что из этого будет — одному Богу известно. Страшно об этом думать, ибо не видать живого порядка в теперешнем времени, которое могло бы уцелеть и быть основанием для новых задач.

6-го августа. Я пробыл две недели в Москве в отпуску и жил на даче в Покровском с женою и детьми. Чудное лето, тепло и хорошо; в деревнях сперва жаловались на засуху, однако вообще, как слышно, рожь недурна, а яровые хлеба почти везде пропали. Из Крыма давно нет почти никаких известий. Из телеграфических депеш видно только, что нового ничего нет. Зато в Свеаборге нового очень много, но мало утешительного. Неприятельский флот бомбардировал крепость, и хотя собственно батареям вреда не нанес, но много зданий сгорело, в том числе все наши магазины почти со всеми складами, и бомбические погреба взорваны на воздух. Погреба эти, по мудрому распоряжению начальства, не были защищены от выстрелов неприятеля. Но важнее всего то, что гарнизон в крепости, как говорят, вел себя самым постыдным образом. Во время бомбардирования солдаты разбили винные погреба и напились мертвецким образом — все это не делает чести распорядительности местного начальства. Комендант — генерал Сорокин, назначенный покойным государем из вице-директора Инженерного департамента, на мой глаз, показался мне далеко не гениальным человеком. Потом от других я слышал о нем нехороший отзыв. Потеря наша в людях, судя по огромному числу брошенных снарядов, вообще незначительна — всего убитых и раненых до 300 человек. Корабль «Россия» более всего пострадал, в нем разорвало 18 бомб. Непонятно, как он не пошел ко дну и как не взлетел на воздух, ибо пожар был вокруг крюйт-камеры. Вероятно, мне придется ехать в Свеаборг, чтобы привести в известность нашу потерю в имуществе и принять меры к устройству нового хозяйства. Сейчас было получено известие, что мы предприняли в Крыму наступательное движение и были отбиты с большой потерей. Убито три генерала: Реад, Вревский и Веймарн.

7-го августа. Я сегодня был в Стрельне — представиться великому князю и доложить ему некоторые дела. Приехал туда к обедне. Великий князь был в форме Стрелкового полка. Во время моего пребывания в Москве свершилось это важное событие. Все члены императорской фамилии назначены шефами разных частей полка, поэтому они все нарядились в стрелковую форму и все, говорят, очень счастливы и довольны. После обедни я пошел к великому князю в кабинет и застал его в красной рубахе, без зипуна; этот наряд, впрочем, очень к нему пристал, и Аксаков порадовался бы, видя русского великого князя в русской красной рубахе и в шароварах в сапоги.

Вчерашнее известие из Крыма весьма плачевно: великий князь сказал мне, что готовится к известию о потере до 15 000 человек. Это ужасно... С подробностями ожидают курьера графа Бобринского. Несмотря на сии плачевные известия, завтра назначена царская охота за зайцами; будут гнать заторенных³⁶, заранее приготовленных и пущенных в остров зайцев. Носятся слухи, что военный ми-

нистр Долгоруков начинает падать. Называют даже его преемником князя Барятинского; я не знаю этого господина и потому не могу судить о нем, но, говорят, он хороший боевой генерал, но никуда не годный администратор и что он это доказал в бытность свою начальником штаба на Кавказе. К несчастью, покойный государь так распорядился, что поставил преемника своего в невозможность выбрать себе способных людей: в известных чинах, из среды которых могут быть выбраны министры и главные начальники, нет ни одного живого человека. Способных терпели только много-много до чина статского советника.

9-го августа. Я собирался ехать на Дон, чтобы устроить там, по примеру прошлого года, операции доставки антрацита в Петербург и получил даже от атamana Хомутова настоящее приглашение, но не могу в настоящее время оставить департамент и не еду; зато мне необходимо ехать в Свеаборг, и я на днях туда отправляюсь; любопытно будет видеть следы разрушений и узнать правду о том, что происходило во время бомбардировки. Главнокомандующему Бергу дали <орден Св.> Андрея <Первозванного> по новой форме, т. е. с мечами. Это еще нововведение, которое принадлежит к числу тех, которыми много и охотно занимаются. Кажется, не за что было бы награждать — с нашей стороны никаких похвальных действий не было. Сегодня я обедал у великой княгини. После обеда она вдруг, отведя меня в сторону, спросила, кого бы я назначил министром внутренних дел. Я отвечал, что из генерал-адъютантов я никого способного и дельного не знаю, и что, не подумав, не могу вдруг назвать. Впрочем, из гражданских губернаторов, сколько мне известно, весьма способный калужский губернатор Бунаков, и он, несмотря на множество недостатков, в хороших руках мог бы быть дельным министром внутренних дел. Она отвечала мне, чтобы я подумал и сказал бы ей свое мнение. Не знаю, что это значит, вероятно, идет речь об увольнении Бибикова, и так как великая княгиня была недавно в Петергофе, то, может, кто-нибудь из дам фамилии, зная, что она более других видится с людьми, спрашивала ее мнения о том, кого можно было бы назначить. Я все-таки уверен, что в той среде, где они будут искать министра, они не найдут человека, а назначить кого-нибудь вне обычных правил они не решаются.

12-го августа. В газетах напечатаны некоторые подробности о несчастном деле 4-го августа. Из реляции видно, что была какая-то путаница, число убитых и раненых не показано, но говорят, что потеря наша простирается от 7-ми до 8-ми тысяч, в том числе 8 генералов выбыло из строя. В неудачах обвиняют Реада, который будто бы не понял приказания — выступил и перешел через речку раньше, чем следовало, и зашел слишком далеко. На другой день после этого неудачного дела неприятель начал снова усиленно бомбардировать, но, по телеграфической депеше от 9-го числа, бомбардирование снова значительно ослабело. Дух войска нашего, вероятно, опять упал. Осень приближается, а с ней распутица, а дорог все-таки нет и в течение всего лета в этом отношении много не предпринято. Неужели не повесят Клейнмихеля, ежели по случаю непроходимых дорог армия наша опять должна будет бедствовать, как в прошлом году?

14-го августа. Известия из Крыма с каждым днем становятся все мрачнее; сегодня получена депеша от 13-го числа, бомбардирование весьма усилилось, наша потеря простирается до 1000 человек в день. Что за ужас. Сколько даром пролитой крови. Вот уже скоро год почти постоянной бомбардировки. Иннокентий, в проповеди по возвращении из Севастополя, говорит, что видел Купину несгораемую и пещь Вавилонскую; кажется, не может быть надежды более удержать Севастополь. Что будет с несчастным гарнизоном, он, вероятно, весь погибнет, ибо отступить некуда; не будет ли Севастополь искупительной жертвой? Что будет после — одному Богу известно. Здесь начинают примиряться уже с мыслью, что Севастополь будет взят. Замечательно, как малопомалу начинают примиряться со всем: один только материальный вред, нанесенный кому-нибудь из правительственных лиц, мог бы вывести из апатии и решить на какие-нибудь энергические действия. В России весть о падении Севастополя поразит, как громовой удар, — ее не ожидают. Не знаю почему, но мне предчувствуется, что завтра, в Успение, в Крыму произойдет что-нибудь важное. Иннокентий благословил севастопольский гарнизон образом Успения Божией Матери, присланным из Киева митрополитом Филаретом. Следовало бы мне ехать сегодня в Ораниенбаум, куда приглашала великая княгиня, там бы я узнал разные мелочные новости, но некогда. Собираюсь в Свеаборг, да и душа не лежит к новостям. К тому же новости все эти в одном роде, например: отставным офицерам и чиновникам разрешено носить кокарду на фуражках; постановляются ордена Станислава 4-й степени; ко всем орденам, даваемым за воинские подвиги, приделаны две крестообразно сложенные шпаги и т. п. Рассказывают следующий анекдот, который я слышал, впрочем, из достоверного источника: на другой день по получении известий о несчастном деле 4-го августа военный министр спросил князя Горчакова по телеграфу, жив ли и здоров ли Мейендорф — молодой поручик, состоящий в штабе князя Горчакова, сын бывшего венского посланника. Князь Горчаков отвечал, что Мейендорф жив-здоров, но зато выбыло из строя 8 генералов. Воображаю, какое впечатление должен был сделать этот вопрос на Горчакова и других. Он возбужден был для успокоения матери Мейендорфа, сестры министра иностранных дел Австрии, заклятого врага нашего.

16-го августа. Получено сегодня известие из Крыма от 14-го числа, что бомбардирование уменьшилось, потеря наша тоже; несмотря на это, кажется, решительно потеряли надежду на сохранение Севастополя и теперь думают только о том, как бы устроить отступление. Через бухту устраивают мост, который, говорят, должен быть готов завтра, 17-го числа. Дай Бог, чтобы нашли возможность спасти хотя бы боевую часть гарнизона. Все будет зависеть от деятельности и распорядительности начальников, но неожиданные случайности могут обратить в ничто самые мудрые распоряжения. А так как эти случайности в настоящую войну играют первостепенную роль, то теперь вся надежда на Бога. Вчера я был в Стрельне, получил от великого князя еще дополнительные распоряжения насчет Свеаборга. Неприятельский флот отчасти уже вышел из Балтийского моря. Бомбард³⁷ осталась только одна. По-видимому, после бом-

бардирования Свеаборга они от собственных своих выстрелов получили значительные повреждения — не могли даже оставаться в море.

Великий князь письменно поручил мне подыскать между молодыми даровитыми литераторами лиц, которых можно было бы командировать в Архангельск, Астрахань, Оренбург, на Вислу и на значительные озера наши для изучения быта жителей, занимающихся судоходством и рыболовством, и составления статей для «Морского сборника»³⁸. Этим способом сборник не только приобретет хороших сотрудников, но главная, в общем смысле, польза — та, что великий князь войдет в более близкие сношения с литераторами, а потому примет вообще большее участие в литературе и этим участием ей даст некоторое право гражданства, что при настоящем порядке вещей очень важно. Постараюсь обратиться к людям талантливым, которые могут оправдать намерение и цель великого князя. Пора бы, наконец, посмотреть на литературу и на литераторов иначе, как на них теперь смотрят. Само правительство нелепыми своими распоряжениями насчет цензуры и личности авторов поставило сих последних во враждебное к себе отношение. Находясь само постоянно под страхом иностранной прессы, оно не только не считало в грош пользу, которую можно было извлечь из своей литературы, но даже не располагает до сих пор ни одним талантливым пером. Булгарин — единственный представитель, официальный орган правительства, заклеямен всеобщим презрением и до того бездарен, что принес, несомненно, больше вреда, чем пользы, своими темными и подлыми диссертациями.

Я рад, что великий князь смотрит вообще на литературу иначе и не только сочувствует всякому таланту на этом поприще, но готов, со своей стороны, содействовать и выдерживать борьбу в противоположном направлении. Доказательством этому, между прочим, служат сочинения Гоголя. Об издании их было столько хлопот и забот, что стоит для памяти записать об этом некоторые подробности. Еще в 1852-м году, после кончины Гоголя, возник вопрос об издании его сочинений³⁹. Сам покойный получил разрешение напечатать вторым изданием прежние свои сочинения, а новые должен был представить в цензуру. Печатание прежних сочинений началось при его жизни, и большая часть их уже почти была готова. Внезапная смерть остановила все дело, а сожженная рукопись «Мертвых душ» 2-ой части лишила всех надежды видеть когда-либо в печати конец этого гениального произведения. Кончина Гоголя наделала столько тревог и шуму в литературном мире, что издание сочинений его правительством было остановлено.

Тургенева, за совершенно невинную статью, напечатанную в «Московских ведомостях», в которой он выражает скорбь о понесенной утрате, посадили по приказанию государя в съезжий дом⁴⁰, где он и просидел около месяца, а потом отослали в деревню с запрещением выезжать в столицы. Наконец, было запрещено не только печатать и говорить о Гоголе, но и просто произносить его имя. Так что в журналах, когда хотели что-нибудь сказать о нем, выражались так: «известный писатель», и слова эти печатались курсивом. Такое гонение на память Гоголя возбудил здешний попечитель университета Мусин-Пушкин, и в этом ему ревностно помогал Булгарин. Между тем в бумагах Гоголя было не-

сколько отрывков из 2-го тома «Мертвых душ» — авторская исповедь и другие мелкие сочинения, а семейство покойного, находясь в совершенной бедности, лишено было от запрещения издавать сочинения средств к существованию. Великий князь, узнав об этом, пожелал прочесть отысканные рукописи и обратился к Шевыреву, в руках которого были все бумаги, с просьбою прислать ему рукописи. По прочтении их великий князь решился хлопотать о разрешении издать все сочинения Гоголя. В это время приехал в Петербург Щепкин, московский актер, и я доставил ему случай читать разные пьесы Гоголя у великого князя, великой княгини Елены Павловны и в других домах. Надо было многих заинтересовать в этом деле, чтобы достигнуть какого-нибудь результата. Сам я достал рукопись глав 2-го тома «Мертвых душ» и читал их, где только мог, и везде старался опровергнуть то превратное мнение, которое распространили злонамеренные люди о покойном Гоголе. Отчасти мне удалось это сделать, но что станешь делать с общим равнодушием. Не только литературное произведение, но и более важный предмет не в силах подействовать у нас на общественное мнение так, чтобы правительство обратило на него внимание. Осталось одно средство — действовать на членов царской фамилии и интересоваться некоторыми дамами. Великий князь пошел прямым путем, писал графу Орлову, прося доложить государю, что сочинения Гоголя, в особенности последние, не только не заключают в себе ничего предосудительного, а напротив того, весьма благонамеренные и издание их могло бы дать литературе нашей хорошее направление. Граф Орлов доложил государю и отвечал великому князю, что государь приказал представить сочинения в цензуру. По поручению великого князя я вошел по этому предмету в переписку с Шевыревым. Московская цензура не решалась пропустить не только новое, но и старое, уже бывшее в печати. Долго дело тянулось, наконец московская цензура представила все в цензурный комитет, хотя с робким, но благоприятным мнением в пользу издания. Великий князь написал министру народного просвещения, прося его ускорить дело, а к графу Орлову — прося поручить Дубельту, как члену Комитета, защищать сочинения Гоголя; Дубельт был всегда один из самых ярых врагов Гоголя; тут он вдруг переменялся и подал в Комитет письменный отзыв, весьма сильный, в пользу сочинений Гоголя. Несмотря на все это, попечитель университета Мусин-Пушкин настоятельно требовал в Комитете, чтобы сочинения были запрещены. Не знаю, каким образом Норов узнал, что и императрица желала бы, чтобы сочинения Гоголя были напечатаны, он это объявил в Комитете и велел прочесть только в присутствии великого князя; все это, наконец, решило^г Комитет представить государю доклад о дозволении печатать все сочинения Гоголя, на что государь и согласился, и на днях эти сочинения вышли, чему я очень рад, как для семейства покойного Гоголя, так и для России. О Гоголе и его сочинениях напишу на досуге свои мысли, его личность и сочинения сильно действовали на меня, и многим я обязан им. Многому пригодному в жизни научился я в особенности из последних его сочинений. Обличитель всякой неправды, Гоголь смертью своей доказал искренность и чистоту своих убеж-

^г Так в тексте.

дений. Поверхностное суждение о нем всегда приводило и приводит меня в ярость, потому что я на опыте сознаю то добро, на которое он навел меня и своей сатирой, и своей проповедью. Как часто в жизни, и в особенности в служебном быту, благодарил я Гоголя.

20-го августа. Выехав в среду из Петербурга, я прибыл сегодня в ночь в Гельсингфорс, по дороге остановился в Выборге, где нужно мне привести в известность, на сколько времени обеспечены флотские команды, там расположенные, провиантом и провизией и какие меры принять для довольствия их в будущем году. Выехал из Петербурга я на перекладных, помня, как в старину катался я на этом экипаже по всевозможным дорогам без особой усталости. В Финляндии же дороги отличные, таратайки⁴¹ показались мне в прошлом году экипажем довольно удобным, погода хорошая — все это заставило меня решиться пуститься в путь не в рессорном экипаже. Проехав первые две станции по мостовой, я надеялся отвести душу на следующих станциях. Не тут-то было, проклятые финские таратайки оказались такими костоломками, что, подъезжая к Выборгу, голова моя гудела, а в поясице и спине разгулялся геморрой. Въехав в город, вижу через освещенные окна ужинающую компанию; в числе пирующих, казалось, находится командир парохода «Тосна», которого мне было нужно видеть. Послал человека узнать, тут ли он, и через несколько минут вышел ко мне капитан и от имени хозяина, начальника 1-й дружины петербургского ополчения генерала Струкова, стал приглашать войти в дом. Сам хозяин вышел мне навстречу, и я нечаянно попал в гости к человеку, который впоследствии оказался совершенно моим благодетелем. От усталости у меня совершенно пропал аппетит, и я с нетерпением дожидался возможности завалиться спать. Хозяин приказал вернуть мои вещи, которые я было отправил в гостиницу, и велел мне приготовить постель, я повиновался всем его распоряжениям безропотно, потому что не надеялся найти такого комфорта в грязной гостинице. Ночь проспал, как убитый, а на другой день, в 6 часов утра, по предварительному еще накануне соглашению, отправились мы со Струковым на пароходе «Тосна» в шхеры на острова осмотреть там батареи и место недавно бывшего сражения на острове Линецари, около которого наши канонерские лодки потопили один неприятельский баркас с десантом. Погода была прекрасная, а потому назидательная прогулка эта удалась совершенно. Некоторые батареи очень хороши, в особенности морские, в двух главных проходах затоплены суда и режи, несмотря на это, оборона, кажется, довольно слаба, и ежели неприятель найдет нужным атаковать эту местность, то может удобно преодолеть все воздвигнутые препятствия. Воротясь домой, я стал собираться в дорогу и с ужасом вспомнил о предстоящем мне пути на перекладной, но гостеприимный хозяин уговорил меня взять его отличный дормез⁴², на что я согласился, и таким образом, весьма покойно и почти без просыпу, доехал я до Гельсингфорса.

Здесь я утром отправился к главнокомандующему Бергу и вручил ему письмо великого князя. Разумеется, мне обещали во всем полное содействие, и я, не теряя времени, отправился в Свеаборг, чтобы взглянуть на развалины своих хозяйственных заведений. Вид крепости почти не изменился; несколько сто-

ревших до основания строений оголяют город, а оставшиеся от пожара каменные обгорелые стены свидетельствуют, что ничто не могло укрыться от разрушительных действий неприятельских снарядов. Большая часть зданий сгорела, в остальных видны пробоины; улицы изрыты бомбами, несмотря на каменную почву и почти сплошной гранит, во многих местах разорвавшиеся бомбы образовали воронки шириною в сажень и глубиною в аршин. По остаткам можно судить о том, как жарко было в крепости во время бомбардировки. Госпиталь три раза загорался, но всякий раз, к счастью, пожар был прекращен, больных перевозили в Гельсингфорс во время боя. В одной палатке ракета влетела в окно, попала под соседнюю кровать и таким образом прошла под всеми койками, не задев никого. Мундирные магазины⁴³ и сараи с провиантом еще тлеют до сих пор. Удивительно, как могли уцелеть другие магазины, где также помещался провиант. Всего сгорела половина, так что уцелевшим количеством можно будет прожить до конца компании. Собственно батареей осмотреть я еще не успел — говорят, они мало повреждены. Я должен буду оставаться здесь долее, чем предполагал, потому что адмирал Шестаков, которого мне необходимо видеть, уехал в Або. Погода стоит прекрасная.

21-го августа. Сегодня я с адмиралом Нордманом объезжал все батареи на острове Сандгал. В прошедшем году на этом острове не было ни одной пушки, и только осенью выстроили ничтожную батарею, которую в нынешнем году нашли нужным бросить. Батареи в Сандгале хороши во всех отношениях, и работа для устройства их была невероятна. Многие заложены и кончены уже после бомбардирования, и тут наученные опытом пороховые погреба весьма хорошо блиндированы⁴⁴. На двух батареях при мне адмирал Нордман раздавал Георгиевские кресты матросам за действия против фрегатов, подходивших к Сандгалу во время бомбардирования Свеаборга. Раздача крестов происходила с приличной торжественностью на русской батарее после молебствования, а на финской — пастор сказал речь. Потом командир Финского экипажа позвал нас завтракать в свой балаган.

22-го августа. Сегодня утром возил меня генерал Баранцов смотреть батареи правого фланга на Рентане и проч. Батареи эти тоже очень хороши и даже устроены в нынешнем году, но они недостаточно защищают город, который неприятель с западной стороны, при огромном количестве своих орудий и при действии своих разрушительных снарядов, может беспрепятственно сжечь. Берг, у которого я сегодня обедал, уверяет, будто бы убежден, что неприятель еще в нынешнем году непременно сожжет город. Я этого не думаю, главное потому, что бомбарды его, которыми он действовал против Свеаборга, от собственных своих выстрелов получили такое повреждение, что отправлены назад. На будущий год, вероятно, эта часть будет ими еще более усовершенствована, но и с нашей стороны, надо надеяться, что будут устроены батареи на острове Друшине и тем поставлено препятствие к бомбардированию города. Хотя все признают Берга за алармиста⁴⁵, но тем не менее он только этим и берет, он до того кричит и пугает, что добивается тех средств от Воен-

ного министерства, которые ему необходимы. Берг настоятельно требует, чтобы я осмотрел все батареи в самом Свеаборге.

Сегодня я ездил на корабль «Россия» смотреть на следы страшного неприятельского огня, под которым находился этот корабль в первый день бомбардирования. Он стоял в самом Густав-Свирском проходе и потому, кроме тех снарядов, которые были направлены на сам корабль, выстрелы, не попадавшие в «Густав-Сверто» и «Скотланд», ложились тоже и на него. Удивительно, как корабль остался на воде: в него попало 18 бомб. Снаряды, падая навесно, пробивали все три дека⁴⁶, при разрыве бомб вылетала из них какая-то горячая и вонючая смола, которая усиливала пожар и затрудняла действие команд при тушении. Несмотря на это, везде пожар был потушен при начале. Одна бомба вылетела на самую крыйт-камеру⁴⁷, остановилась на медной обшивке потолка, разорвалась, зажгла потолок, осколком разбила кокор⁴⁸ с порохом и рассыпала порох; корабль не взлетел. Это просто чудо. Под разорвавшейся бомбой нашли икону Спасителя, неизвестно каким образом очутившуюся тут с места, на котором висела. Конечно, корабль уже более никуда не годится, ибо все и главные части его перековеркало, впрочем, он уже за старостью и так назначен на сломку. Капитан Поплонский, по-видимому, весьма распорядительный и хороший человек. Во время боя всегда спасает корабль, и, не имея возможности отвечать неприятелю, который от него был скрыт крепостью, он посылал предупредить коменданта о своем положении, и только вечером корабль был выведен из-под выстрелов неприятеля, простояв, таким образом, 14 часов под страшным огнем. На корабле убито и ранено около 200 человек.

23-го августа. Осмотрел я сегодня все батареи в крепости, больших трудов стоило устройство их при недостатке земли. В нынешнем году, можно сказать, Свеаборг похож на действительную крепость, тогда как в прошлом году смешно и странно было смотреть на это отсутствие всяких средств к действительной обороне. Несмотря на все работы нынешнего года, вся эта твердыня могла быть разрушена, ежели бы Бог не помиловал. Кроме тех 4-х бомбических погребов, которые взлетели на воздух, все пороховые погреба не только могли, но, по теории вероятности, должны бы были взлететь, а с ними бы и все батареи пошли к черту. Во время боя начали бомбардировать некоторые погреба и ломать деревянные сараи, которые существовали тут как бы нарочно для того, чтобы производить пожар. На каждом шагу провожающий нас офицер говорил: «И вот здесь Бог помиловал». Могла бы быть беда, и точно — вы видите, что не только могла, но и должна была быть беда. «Да как же не подумали прежде об этой опасности?», — спрашиваю я. «Ну, не знали», — отвечают мне. Теперь все это будет исправлено. Видимо, настоящий наш главнокомандующий — Бог, отвращая от нас беду, которая над головой нашей висела, хочет тем вразумить нас и заставить заняться делом. Один мой знакомый священник, объясняя мне однажды, какими иногда путями ведет Провидение человека к исправлению, выразился так: «У Бога такая манера, возьмет человека и пустит на него прохожих, а те на него грязью метают. Он и почувствует то, чего прежде не чувствовал. Оно хоть не больно, да стыдно». Кажется, что такую самую манеру

Бог и с нами взял. Дай Бог, чтобы урок тот впрок пошел. Неприятель, видимо, над нами смеется — перед Свеаборгом стоит теперь один фрегат и живет себе вне выстрела, делает промеры и на деле показывает нам, что и с одним фрегатом мы ничего не можем сделать. Возмутительно смотреть на этот видимый знак презрения. Я еду сегодня в ночь, дела уладив все свои и порешив многое на месте, чем надеюсь избавить себя от скучной переписки.

Здесь, как и в других местах, Сухопутное ведомство не в ладах с Морским, нельзя, однако, не видеть, что моряки гораздо полезнее на батареях и знают дело гораздо лучше сухопутных, и дух несравненно благороднее. Особенной перемены в сочувствии Финляндии к нам я не заметил. Изменников, по-видимому, много, потому что неприятель имеет самые верные сведения о таких предметах, которые для всех нас секретны. Ему, например, положительно известно направление мин, тогда как командиры наши этого не знают, и один маленький пароход попал на мину и пошел ко дну. Вообще до сих пор эти мины нанесли вреда более нам, чем неприятелю, а что всего хуже — это то, что мины Нобеля разрываются от прикосновения, плохо укреплены, расплылись по заливу и поднять их весьма трудно. Это может остановить отправление наших транспортов.

26-го августа. Я прибыл сегодня ночью благополучно в Петербург, прямо на новую квартиру на Невском (102) в дом графа Протасова. Здесь я узнал о назначении Ланского министром внутренних дел вместо Бибикова. Выбор самый несчастный. Ланской никогда не отличался ни особенными способностями, ни яркими достоинствами. Года три тому назад он временно, в отсутствие Ланского, исполнял его должность — вот, вероятно, причина его назначения. По званию директора тюремного Комитета, я был в частых сношениях с Ланским, который, как вице-президент, председательствовал на заседаниях и распоряжался всем. На меня возложено было заведование С.-Петербургской городской тюрьмой, и когда я принялся за дело и стал делать представление об улучшении разных частей управления тюремным замком, который находился и до сих пор находится в самом безобразном виде, то не встретил в Ланском не только сочувствия, но явное противодействие, хотя сам он признавал дельность моих замечаний и представлений. Я убедился при этом, что он человек, совершенно равнодушный ко всему, не имеющий решительно никакой собственной мысли, поддающийся влиянию первого негодяя, который сумеет к нему поддаться. Одним словом, — человек совершенно пустой и ни к чему не годный, неспособность его, вероятно, будет доказана опытом. И такому человеку вверяется управление самым главным министерством, особливо в настоящее время.

Бибиков заслужил всеобщее нерасположение двумя мерами: во-первых, инвентарями⁴⁹, а во-вторых, преследованием раскольников, так что удаление его порадует все классы общества. Но, не менее того, вопросы, им возбужденные, не разрешаются его отставкой: хороши ли, дурны ли меры, затеянные Бибиковым для разрешения этих вопросов, — это другое дело, но, во всяком случае, можно было бы предполагать, что при перемене министерства избрано будет лицо, которое могло служить представителем другого взгляда на предмет. Ланской ни своей персоной, ни своими убеждениями ровно ничего не выража-

ет, и вся деятельность его будет ограничиваться поверхностным разрешением текущих дел. Причем директора департаментов будут играть главную роль. Вопросы о крепостном состоянии, о раскольниках, об улучшении внутренней администрации и проч. останутся в стороне, и на этом они не разрешатся, а напротив, шаткость действий произведет еще большее смятение, и конец этой неурядицы может быть очень плачевен. Личность Бибикова, сама по себе возбуждающая мало сочувствия, возвышалась в глазах многих обстоятельствами, сопровождающими его падение. Еще при покойном государе, по возникшим от помещиков Западных губерний жалобам на инвентари, составлен был для обсуждения сего вопроса комитет под председательством наследника; Бибиков в этом Комитете защищал свои распоряжения вопреки мнению наследника, который резко выразил его и свое неудовольствие и нерасположение к Бибикову. Со вступлением на престол нового государя Бибиков ожидал немедленного своего увольнения, тем более что тогда же, в речи, произнесенной в Государственном совете, государь, передавая благодарность покойного отца своего министрам, исключил из благодарности сей Бибикова. С тех пор Бибиков не скрывает ни от кого, что не думает долго оставаться министром, и даже переехал в свой собственный дом и жил там все лето. Между тем Бибиков не сделал ни одного шагу, чтобы поправить свои дела. Совсем не так поступил Клейнмихель. Этот, напротив, и сам, и через Ростовцева так обделал свои делишки, что находится теперь в совершенном фаворе. Бибиков даже ни разу не просил личного доклада и ограничил все свои сношения письменно, в докладах, большею частью совершенно пустых. Таким образом, это продолжалось до сих пор. На днях же государь посылает из Царского Села за Бибиковым, заставляет его долго дожидаться в приемной, а потом, призвав в кабинет, изъявляет ему свое неудовольствие за то, что в течение 6-ти месяцев он — Бибиков — не хотел даже его видеть. На это Бибиков возражал, что ожидал приказания явиться. При этом, говорят, происходил разговор довольно неприличный. Говорят, будто бы государь сказал ему: «Что Вы думали, что я сам приеду к Вам с визитом?»; на это Бибиков отвечал, что он не мог иметь такой мысли и что она даже не могла ему никогда прийти в голову и проч. ... Засим государь объявил ему, что назначил на его место Ланского. «Что Вы на это скажете?» — спросил государь. «Я скажу, — отвечал Бибиков, — что Ваше Величество изволили прекрасно сделать, ибо, коль скоро министр не пользуется Вашим доверием, то не следует его держать ни одного дня, в особенности при настоящих трудных обстоятельствах». Таким образом, на другой день напечатано было в приказах увольнение Бибикова от звания министра. Одному директору своему, который спрашивал его, правда ли, что он их оставляет, Бибиков без обиняков объявил, что нет, что е г о о т с т а в л я ю т, но что он не просился. Конечно, Бибиков имеет независимое и большое состояние, а потому не нуждается в месте, но, не менее того, в нынешние времена и при подобных обстоятельствах гражданское мужество есть величайшая редкость.

Из Севастополя слухи все хуже и хуже, от бомбардирования мы теряем до 1000 человек в день. Кажется, нет возможности держаться долее, и теперь заботятся о том, как бы удачно отступить на Северную сторону.

28-го августа. Был я сегодня в Стрельне с докладом. Великий князь, по-видимому, очень озабочен. Кроме дел и неприятных известий из Севастополя, его княгиня начинает, кажется, уже чересчур дурить. Бог знает, чем все это кончится, везде непорядок и начало грозы.

29-го августа. Как ни ожидал, как ни готовился к роковой вести падения Севастополя, а все-таки сердце залилось кровью, когда прочел сегодня депешу, извещающую, что, отбив 6 штурмов, мы не могли выбить неприятеля из Корниловского бастиона и, теряя от бомбардирования по 2500 человек в день, оставляем Южную сторону Севастополя. Горчаков кончает депешу словами: «Неприятель найдет в Севастополе лишь окровавленные развалины». Итак, жертва принесена. Около 200 тысяч человек погибло, флот Черноморский не существует, миллионы, которых стоили укрепления Севастополя, пропали. Черное море окончательно у нас отнято, и в будущем ничего не предвидится, кроме сраму, слез и разорения. «Доколе, Господи, забудеши нас до конца». Неужели мученическая смерть стольких героев ни во что нам не вменится? Вечером получена другая депеша, в которой говорится, что отступление совершено неизменно успешно и только менее 100 человек и 500 раненых оставлены в руках неприятеля. Это удивительно. Отступление всего гарнизона по одному мосту, наскоро сделанному, представляло много затруднений. Несмотря на это печальное известие, назначенное на завтра церемониальное, в золотых каретах, шествие в Александро-Невскую лавру не отменено и толки о завтрашних наградах продолжают. Из окон наших процессию будет хорошо видно. Сегодня льет целый день дождик — что-то будет 30 августа? С 8-ми часов утра стал толпиться народ на Невском проспекте. В 9 часов пошел крестный ход в Лавру, а затем тронулась и придворная процессия. Государь с наследником и все великие князья ехали верхом. Народ кричал «ура», но без особого воодушевления. На обратном пути было более энтузиазма. На Невском проспекте на некоторых балконах вывешены ковры и цветные материи, в особенности отличались французские магазины, быть может, вероятно, они в душе своей праздновали падение Севастополя, но так как они и англичане, оставшиеся в большом числе в Петербурге, приняли российское подданство, то на бумаге они все люди благонамеренные, хотя и удивительно, что враги наши знают все сокровенные наши тайны через своих агентов, а мы ровно ничего не знаем, что они замышляют. В газетах пишут, что Пелисье в день атаки нашей 5-го августа на Черной⁵⁰ получил из корпуса известие о нашем намерении. Очевидно, что это известие доставлено было в Париж из Петербурга.

Говорят, что союзники намерены послать сильный десант в Николаев. Великий князь собирается туда ехать, эта поездка может принести пользу, так как флот наш в Черном море больше не существует, то хотя бы остатки команд собрать и дать им какое-нибудь назначение. Говорят, укрепления, защищающие Николаев, очень слабы. Из Севастополя сегодня известий нет. Успели ли взорвать каменные батареи? И что сделали с оставшимися кораблями — неизвестно. По армии вышел приказ с изъявлением, от имени всей России, благодарности севастопольскому гарнизону. Что-то скажут в Москве и во всей России о паде-

нии Севастополя? Чем более думаешь о современных событиях, тем более убеждаешься, что обыкновенным путем нет нам выхода из нашего положения. Не говоря уже о материальных недостатках во всем для продолжения войны — в порохе, снарядах и, наконец, деньгах, все духовные силы народа поработаны слишком предосудительными гнетами, убившими всякую живую мысль, всякое живое чувство и всякое сочувствие к правительству. Теперь, в утешение падения Севастополя, многие говорят: «Ничего, неприятель был и в Москве». Не знаю, может ли 1812-й год служить залогом успешным окончанием нынешней войны, но тогда не только характер и смысл войны, затеянной одним завоевателем, был совершенно не тот, как теперь, но и общество русское было несравненно целее, нравственнее, и правительство было разумнее. К тому же нападающая на нас сила была гораздо незначительнее настоящей. Что можем мы теперь противопоставить разрушительному действию всех огнестрельных и других совершенствований? Не имея теперь в своем владении ни одного моря, мы должны собственными средствами охранять себя со всех сторон. Явись теперь между нами гениальный человек, со светлыми мыслями и душой, он, может быть, сумел бы, изменив всю политическую систему нашу, дать делам оборот неожиданный. Но такого человека не видать на нашем горизонте, да и почва, на которой мог бы вырасти не только гений, но и просто талантливый человек, забита щебнем в продолжение 30-летней утрамбовки. Одна надежда на неожиданное чудо.

1-го сентября. Сегодня государь с императрицами и великие князья уехали в Москву. Цель путешествия — показаться народу и поклониться угодникам. Оттуда государь отправляется в Варшаву, а великий князь — в Николаев, где и пробудет до ноября. Странно, что из Крыма нет никаких известий. Любопытно будет знать, как будет принят государь в Москве. Вероятно, отлично.

2-го сентября. Я обедал сегодня у великой княгини. Она сегодня в ночь едет в Москву и настоятельно приглашает меня с нею ехать. Очень бы мне самому хотелось бы повидаться с женой и детьми и посмотреть, что теперь делается в Белокаменной, но совещусь спроситься в отпуск, тем более что намерен был попозже поехать за женой. За обедом принесли от императрицы телеграфическую депешу из Крыма. Горчаков доносит, что с начала штурма до окончания отступления на Северную <сторону> ранено у нас 8 генералов, несколько штаб-офицеров, 100 обер-офицеров и до 4000 нижних чинов. Неприятель еще не сделал никаких приготовлений к атаке с Северной стороны. Мы, со своей стороны, усиливали батареи; по-видимому, Николаевский и Михайловский форты не взорваны, а потому будут в руках неприятелей действовать против нас. Вероятно, недостаток пороха не позволил подвести под форты сии мины. О флоте в депеше ничего не говорится. Из разговоров я узнал, что предложено было в Москве издать манифест, в котором повторить слова 1812-го года, т. е. «Не положу оружия, пока хоть один враг будет на Русской земле». Но предложение, кажется, не состоится, потому что бояться слишком связывать себя на случай мирных предложений. Как ни обидно в этом сознаться, а нельзя не согласиться, что в настоящем нашем положении мудрено

хорохориться, тем более что слова, обращенные к народу, до сих пор не мешали действовать наперекор им, а потому лучше и не произносить их.

7-го сентября. Я сегодня возвратился из Москвы, куда поехал с великой княгиней, воспользовавшись ее приглашением. Отпуска я не просил и, следовательно, уезжал без спросу, как школьник. Поездкой своей я очень доволен и нашел всех своих, благодаря Богу, здоровыми. Мы выехали из Петербурга 4-го числа в 5 часов утра. Великая княгиня приехала с вечера на станцию железной дороги и легла ночевать в вагоне. Я также, окончив дома дела свои, приехал на станцию в 2 часа ночи, лег в вагоне, заснул и проснулся уже в пути, не заметив, как мы тронулись с места. В течение дня меня несколько раз призывала к себе в вагон великая княгиня, и в приятной беседе проходило время. В Бологом завтракали, в Твери обедали и в 9 часов вечера были уже в Москве. Всего ехали мы 16 часов. В Покровское, где еще живут жена и дети, я в тот же день вечером ехать не решился, потому что было темно и дождливо. Никто меня не ожидал, и приезд мой был совершенный сюрприз. На другой день, т. е. 5-го числа, я утром отправился в Покровское, отобедал и потом с женой прибыл в Москву, где ночевал, и на другой день по железной дороге пустился в обратный путь. Москва, как и следовало ожидать, поражена известием о взятии Севастополя; все классы народа соединяются в одном чувстве скорби. Говорят, не только купечество, но и низший класс негодует, толкует и плачет, считая падение Севастополя не только страшным материальным вредом, но и позором. Несмотря на это, государь был принят народом хорошо. Толпа народа сопровождает его при всяком его появлении. На выходе же было так просторно, что дозволено для вторичного представления приехать всем желающим до 14-го класса включительно.

Московскому дворянству, при представлении, государь сделал публичный выговор. Обратясь к уездным предводителям, он сказал им, что привык смотреть на московское дворянство как на стоящее во главе дворянств других губерний; он надеялся, что в настоящих обстоятельствах оно покажет себя достойным своего прошедшего, но что надежды его не оправдались и что московское дворянство несоответственными выборами офицеров ополчения и дурным снаряжением его оказало небрежение в святом деле и проч. и проч. ... Эти слова государя справедливы, и, хотя показалось многим странно, что государь начинает свое знакомство с московским дворянством выговором, но я, со своей стороны, оправдываю порывы откровенности со стороны государя. Одно только несправедливо, что укор падает на невинных, ибо дворянство как сословие ничего не значит. Выборы его — вздор, и к тому же офицеров не выбирали, несмотря на протесты многих дворян. В комитет, занимающийся экипировкой ратников, уездных предводителей и не пускали. Одним словом, силою все подавившей власти всякое непосредственное действие отдельного лица или сословия было невозможно, и образовавшееся вследствие этого равнодушие к общественному делу есть главная причина всего зла.

Правительство пожинает теперь плоды того, что посеяло, и потому не вправе негодовать на то, что плоды эти горьки. Поэтому дворянство считает упрек государя несправедливым, ибо не понимает, как бы следовало ему действовать

иначе. Оно не знало, что сукно для ратников покупается скверное, а если бы и узнало, то протестовать, конечно бы, не осмелилось. Офицеров назначали не для земского дела, а на службу, в том тесном смысле этого слова, как привыкли теперь смотреть на службу, а потому и брали офицеров с улицы и тех, у которых формуляр не замазан, т. е. который официально не объявлен вором или пьяницей, записывали на службу. Хотят, чтобы общество оставалось в постоянном неведении всего, что его касается, чтобы оно не только не принимало никакого участия в делах правительства, но чтобы и не интересовалось им, и с этой целью стараются роскошью и всякими развратными увеселениями отвращать его от выполнения дел общественных, и в то же время хотят, чтобы это же общество вдруг, по данному сигналу, преисполнилось гражданскими доблестями, верило правительству и бескорыстной любовью к общественному делу и самоотвержением разумным обратилось бы в орудие для намерений, им неизвестных, и целей непонятных. Сказывают, что покойный государь, еще при начале войны, узнав, что все сословия в России как будто пробудились от сна, сильно заинтересовались узнать причину, цель войны и намерения правительства, с неудовольствием заметил графу Орлову: «Это не их дело». Неуважение к общественному мнению продолжается до сих пор. Все сведения и подробности о наших военных действиях должны мы почерпать из иностранных газет. Наши бюллетени печатаются не для нас, а для Европы, и потому редакцию реляций изменяют иногда, сглаживая места, которые могли бы не понравиться врагам нашим. Подробности отступления из Севастополя до сих пор неизвестны публике, хотя они получены уже давно, и вся Россия ждет их с нетерпением. Клеймхель, которого Россия справедливо обвиняет в самых вопиющих злоупотреблениях и который, быть может, будет главною причиной не только падения Севастополя, но и оставления Крыма, потому что в течение года не озаботился устроить в Крыму дороги, такого человека, заклеянного общественным презрением, держат на месте, и даже, по-видимому, он вошел в милость. Все эти мысли в разных формах выражаются теперь всеми как в Петербурге, так и в Москве. Вообще же во всех наших неудачах обвиняют прошедшее царствование. Государь на днях отправляется в Николаев и оттуда, вероятно, в Крым. Его присутствие может быть теперь весьма полезным. Вразуми его Господь.

9-го сентября. До сих пор еще не напечатаны подробности падения Севастополя. Вряд ли нам будет возможно долее оставаться в Крыму, ибо, ежели прегражден будет единственный путь на Перекоп, то вся армия должна будет погибнуть. «Доколе, Господи, забудешь нас до конца».

11-го сентября. В Петербург, за отсутствием царя и двора, никаких новостей нет. Из Крыму получены известия, что неприятель начал бросать бомбы и ракеты на Северную сторону. Сегодня узнал я, что Капнист, московский гражданский губернатор, сделан сенатором. Он обвинен был ежели не в злоупотреблениях, то по крайней мере в небрежности при заготовлении обмундировки московских ополчений, за что ему сделан был в приказах выговор. Дело это получило, таким образом, гласность. Теперь, без предварительного оправда-

ния, его делают сенатором, и все убеждены, что это назначение есть выражение гнева. Покойный государь сделал из Сената чуть-чуть не арестантские роты. Всех тех, которые оказались негодными из дивизионных генералов, сажали в Сенат. Бессарабский военный губернатор Федоров, уличенный в самых предосудительных поступках, был сделан сенатором и вместе с тем предан следствию. Вообще всех сомнительных людей, *н е г о д я щ и х с я* никуда, сажали в Сенат, не заботясь о том, что этим унижается звание сенатора и что это унижение уничтожает значение учреждения, на которое еще, по преданию, в провинции смотрят с некоторым уважением, но, видимо, эта система пренебрежения к Сенату продолжается и теперь, и она главным образом происходит от совершенного непонимания власти Сената. Министр юстиции, который первый должен бы был обратить на это внимание, не осмеливается пикнуть, да и сам он своими распоряжениями действует совершенно в том же духе. На место Капниста назначен московским гражданским губернатором генерал Синельников. Этот выбор также, к несчастью, доказывает, что нет даже поползновения к строгим выборам людей, способных улучшать внутреннюю администрацию. Генерал Синельников служил в разных штабах и считался исправным и аккуратным писарем, в точности исполняющим приказания начальства, но, по словам князя Шаховского, у которого Синельников служил, он вовсе лишен всяких самостоятельных административных способностей.

Все эти странные назначения делаются потому, что государь не имеет ни малейшего понятия о государственных и губернских учреждениях России; он, конечно, не знает твердо, что такое, собственно, Сенат; о губернском правлении он вряд ли слышал, а о круге действий, власти и значении других учреждений он, вероятно, никогда и не думал справляться. Вероятно, государь об этих предметах не более знает, чем великий князь, в невежестве которого в этом отношении я имею положительные доказательства. Вероятно, профессора, преподававшие членам императорской фамилии государственное право, ограничивались кратким обзором системы государственных учреждений России, наглядно же практического понятия о сих учреждениях они получить не могли, потому что в провинции не жили и дел никаких не имели. В моей служебной практике я нередко имел случай видеть, как смешны бывают губернаторы, не приготовленные ни воспитанием, ни службой к сим местам, и какой страшный вред от этого происходит. Удивительно, как строго последовательно держались системы унижения всех, как высших, так и низших должностей. Ежели вспомнить, как уважалось звание сенатора и губернатора прежде, не говоря уже об эпохе Екатерины II, но и в царствование Александра I, то нельзя не убедиться, что сильно должно было быть желание все опозлить, чтобы дойти до настоящего положения вещей. Жаль, что в этом отношении нет надежды на улучшение.

13-го сентября. В газетах напечатан приказ князя Горчакова Южной армии. Он вообще хорош и вышел кстати. В нем сделан краткий исторический обзор всей осады и выражена благодарность гарнизону за мужество и стойкость. Между прочим, князь Горчаков говорит, что в последние 20 дней осады

потеря наша ежедневно простиралась от 500 до 1000 человек. Это ужасно... Но несмотря на это страшное кровопролитие, дух гарнизона, говорят, не упал до самого конца, и теперь войско горит желанием отомстить врагу. Боже мой, неужели не явится человек среди такой массы героев? Неужели суждено нам замереть со всем могуществом духовных сил народа? Ежели бы не лежало в нас глубокое убеждение, что есть в России силы, есть в ней средства, которыми не умеют воспользоваться, ежели бы можно было согласиться с теми, которые, презирая Россию, не видят в ней никаких самобытных начал и никакой будущности, то, кажется, можно было бы равнодушно смотреть на современные события и не возмущаться тем, что кругом делается и что даже сам делаешь. Я знаю многих русских в Петербурге, которые совершенно спокойны и ежели не радуются нашим неудачам, то только потому, что вычитали в разных французских журналах, что всякий порядочный человек должен иметь *amour pour sa patrie** и что во всяком случае публично презирать ее неприлично. Но для этих господ неудачи наши весьма естественны, даже один из них (которого назвать не хочу), служащий в Министерстве иностранных дел, прямо сказал мне однажды, что скорее нужно опасаться успеха нашего оружия *puisque cela ferait triomphe de la barbarie contre la civilisation***. Господин, сказавший мне эти слова, далеко не глупый человек и в обществе даже считается умным, он выразил мысль, которая таится в душах всех главных представителей Министерства иностранных дел, начиная от самого Нессельроде. Во всех прошедших и настоящих действиях наших посланников и дипломатов видна постоянная какая-то нерешительность, происходящая из убеждения *qu'ils defendre une mauvaise cause****. Надо быть гениальным человеком, чтобы защищать интересы земли, которую не знаешь, не уважаешь и знать не хочешь. Что знают, например, граф Брунов, Мейендорф и Киселев о России, они даже и говорить по-русски почти не умеют, кроме Петербурга ничего не видели, да и в Петербурге, кроме иностранных газет и книг, ничего не читали. Не только о русской жизни, ее особенностях и началах они понятия не имеют, но и не исповедуют православной веры, но и не знают даже основных законов России. Любопытно бы было спросить, например, у Брунова, который отлично знает все государственные учреждения в Англии и во Франции, какое он имеет понятие о нашей администрации, о нашей промышленности и торговле, о нашем семейном и гражданском быте? Господа эти образовали себя частью из иностранных книг, частью из разговоров, слышанных ими в модных гостиных; какое-то отвлеченное понятие о России; в общих чертах Россия представляется им чем-то безобразным, грубым и невежественным, и на этом основании образовали они себе понятие и о каких-то отвлеченных интересах России, которые и защищают без особого усердия и без всякого сердечного участия. История докажет, что все наши дипломатические неудачи, возбудившие настоящую войну, произошли главным образом от непонятного ослепле-

* любовь к родине

** так как это явится триумфом варварства над цивилизацией.

*** что они защищают скверное дело.

ния правительства, вверившего интересы свои в руки таких посланников. Впрочем, правительство само, отделивши себя и интересы свои от России, не могло выбирать людей с другими взглядами на вещи. Неужели кровавый урок и в этом отношении не послужит нам в пользу?

16-го сентября. В Крыму неприятель начинает наступательные движения; уже высадил 30 тысяч войск в Евпатории, действует одновременно против левого нашего фланга. Военные люди говорят, что нам необходимо отступить и оставить Крым, что иначе армия наша может быть отрезана и должна будет положить оружие. Но до сих пор мы еще держимся на Северной стороне Севастополя, хотя и эту сторону неприятель начал сильно бомбардировать.

Государь теперь, вероятно, если не в Крыму, то в Перекопе. Многие надеются, что вследствие посещения государем театра военных действий военный министр князь Долгоруков и Клейнмихель падут, ибо не может государь не убедиться, что для Военного министерства нужен теперь человек более способный и энергический и что Клейнмихель не мог в продолжение года сделать в Крыму дороги, необходимой для продовольствия армии, и что поэтому армия наша не может держаться в Крыму. Дай Бог, чтобы надежды хотя в этом отношении оправдались, но я не верю в падение, в особенности Клейнмихеля, потому, что этого человека ежели не прогнали прежде, то нет причин прогонять теперь, к тому же он, говорят, в силе и имеет поддержку в лице Ростовцева. В газетах напечатана статья Погодина о пребывании государя в Москве. Статья эта довольно эффектна и, как все статьи Погодина, не написана, а намазана, т. е. издали, как декорация, производит эффект, а вблизи, при внимательном чтении, поражает необработанностью и неотделанностью речи.

18-го сентября. Я возвращаюсь сегодня из Царского Села в одном вагоне с графом Перовским, бывшим министром внутренних дел, а ныне министром Уделов. Он с некоторого времени сделался военным, произведен в генералы от инфантерии и носит мундир Стрелкового полка императорской фамилии, который сформирован из крестьян удельных имений. Поразительно, с каким ребячеством он щеголяет в своем костюме, отпустил бакенбарды и усы, сделался необыкновенно разговорчив и развязен, одним словом – совершенно преобразовался. Как министр внутренних дел он был искусственно важен и надут, а теперь, видно, он совершенно в своей сфере, и по разговору судя, занят не на шутку всякими мелочными подробностями выпущенных петличек и проч. ... Кто-то весьма справедливо назвал его башибузуком; как жаль, что так поздно попал он на настоящую свою колену: он рожден быть башибузуком, а его лет 10 держали министром внутренних дел...

В том же вагоне ехал прусской службы Мюнстер. Этот господин играл в последнее время при покойном государе весьма важную роль, быв его любимцем и конфидентом; официальная должность его при дворе состоит в наблюдении за военными усовершенствованиями, для той же цели при прусском дворе находился от нас генерал граф Бенкендорф. Разумеется, Мюнстеру нечего учиться у нас военным усовершенствованиям, а потому он занят совершенно другим

делом. При дворе, по милости императрицы, всегда отличали пруссаков, а в последнее время образовалось целое гнездо пруссаков, бывших в милости фрейлины Раух, дочери бывшего прусского посланника, оставшейся после смерти отца в России и взятой ко двору еще при жизни отца.

Доктор Мандт, самый, может быть, доверенный человек покойного государя и самый, может быть, заклятый враг России, и, наконец, Мюнстер с женою действовали совокупно и с большой силою. Им помогали немало Нелидова и граф Нессельроде. Для этих лиц не было никаких тайн, и они, без сомнения, сообщали в Пруссию все, что видели и слышали в самом источнике всех новостей. Шаткость, неопределенность и изменчивость нашей политики при всех дипломатических действиях при начале войны, в особенности относительно Германии, надо приписать пагубному влиянию прусской партии, которая действовала неусыпно, всякими средствами. Гадко было видеть, как в прошедшем году, во время пребывания государя в Гатчине, когда, после Альмского сражения, государь совершенно потерял голову и начались всякие неудачи. Покойный государь плакал на груди Мюнстера, поверял ему все тайны, тогда как для других все было секретно. Вся эта прусская шайка и до сих пор при дворе, но, кажется, далеко не имеет прежнего значения. Мандт уехал за границу и, может быть, не вернется. Великий князь, вообще не любя немцев, кажется, в особенности не терпел этих пруссаков. Это, конечно, им было известно, и они его прозвали *Preusse-Hasser**. Тайная история дипломатических сношений наших в последнее время раскроет когда-нибудь степень участия этих господ во всех наших неудачах и непростительных промахах.

24-го октября. С лишком месяц не писал я, потому что за это время ездил в Москву за женою, которую перевез благополучно в Петербург с детьми. В Москве пробыл с лишком неделю и с тех пор постоянно нездоров. Воспаление глаз мешало мне заниматься, теперь, слава Богу, лучше. В течение нынешнего месяца совершились такие перемены, о которых следует упомянуть. В Москве заметил я в общественном мнении некоторую раздражительность, в особенности со злобными упреками тревожат прах покойного императора, в клубах и гостиных громогласно обвиняют прошедшее царствование во всех наших неудачах. В губерниях также, говорят, падение Севастополя сильно подействовало на общественное мнение. Бездействие настоящего правительства приводит в уныние. Государь и великие князья в Николаеве занимаются укреплением устьев Буга. Неприятельский флот, прибывший сперва в одесский рейд с десантом, подошел в Кинсбургу, высадил десант, взял эту крепость, которую мы Бог весть сохранили для чего, не имея средств защищать, на мелких судах поднимался вверх по Бугу, впрочем, не на дальнее расстояние. Теперь неприятельский флот и десант опять ушли в Севастополь. Эта демонстрация, видимо, была сделана для отвлечения сил наших из Крыма. Тут неминуемо скоро должны происходить важные военные действия. Говорят, избранные нами позиции довольно сильны, но вопрос продовольствия армии не решен, и вообще трудно надеять-

* ненавистник Пруссии (нем.).

ся, чтобы мы могли сохранить Крым, но и самая армия наша в случае неудачного сражения может быть поставлена в критическое положение. Всем более или менее известно, в каких трудных обстоятельствах мы теперь находимся; неудачный штурм Карса⁵¹ 17-го сентября, при котором мы потеряли с лишком 6000 чел., отнял всякую надежду на удачу и с этой стороны. От Муравьева ждали чудес, а теперь обвиняют в неудачах. Одним словом, со всех сторон совершающиеся события наводят невыразимую грусть, и при этом легко себе представить, какое впечатление производят доходящие из Николаева слухи, что там живут весело, ездят на охоту, гуляют, делают смотры и проч. и проч. ...

Среди всех этих печальных событий свершилось наконец событие, всеми давно ожидаемое, которое разом подняло упавший дух и произвело, можно сказать, всеобщий восторг во всех концах России. Это событие — падение Клейнмихеля... Он подал в отставку вследствие сделанного ему из Николаева внушения. Что именно побудило государя решиться на эту меру, как это ведено и кто в нем участвовал — я еще не знаю. Городские слухи об этом недостоверны. Вероятно, великий князь немало содействовал низвержению человека, которого признавали решительно вредным, и ежели это так, то я могу утешить себя мыслию, что и мои убогие труды не пропали даром, потому что и я не пропустил случая и не скрывал перед великим князем мнения своего об этом господине; как бы то ни было, но дело в том, что в тот же самый день, как Клейнмихель подписал тут, в Петербурге, просьбу об отставке, радостная весть эта разнеслась по всему городу — я узнал ее в департаменте от чиновников, которые сообщали ее друг другу с невыразимым восторгом. Все, даже на улице, друг друга поздравляют. Купец Кокорев пишет мне из деревни: «Целую неделю ходят слухи о прогнании Клейнмихеля, но все еще слухи пока. Не смею радоваться, пока не прочту в приказах, а по прочтении — даю обеды на бедных в течение месяца за здоровье царя».

Погодин пишет мне из Москвы, что он узнал новость в клубе, где лилось шампанское, которого давно уже не пили, и праздновали победу над внутренним врагом. Головин пишет мне из Николаева от 15-го октября: «Сегодня здесь была объявлена новость, что Клейнмихель уволен и на его место назначен Чевкин. Вы не можете себе представить общей радости, восторга и восклицаний; лобызались и поздравляли друг друга. По рукам ходят уже стихи на этот случай».

Что может быть красноречивее и знаменательнее этих фактов? Какое же правительство, которое поставило себя в такое положение к общественному мнению? Может ли такое правительство надеяться на сочувствие; может ли негодовать на злоупотребления и карать взяточников, когда само, упорным сопротивлением общественному мнению, добровольно и умышленно отчуждает себя от общества? Какой прекрасный урок молодому государю, ежели бы он мог его понять. В этом всеобщем негодовании на Клейнмихеля и всеобщей радости при известии о его падении много утешительного. Значит, еще не совсем забито и задавлено общественное сознание, значит, оно еще может проявиться, равнодушие, значит, еще нас не совсем одолело.

Клейнмихель больше, чем кто-либо, выражает личностью своей общий характер прошедшего царствования. Деспот в высшей степени, без всякого об-

разования, украшался девизом: «Усердие все преодолагает». Этот девиз, изображенный на медали, которая была дана ему за перестройку Зимнего дворца, который из пепла в несколько месяцев он воздвиг, потратив на него миллионы и заморив на работе сотни людей, — этот девиз был любимым девизом покойного государя. Усердие не стесняется при выборе средств, усердие не хочет знать цели, усердие вообще не рассуждает, усердие никого знать не хочет, кроме того, для которого усердствует, для усердия нет ни закона, ни права, ни Бога — оно все преодолагает. Очень любопытно будет современникам узнать тайную причину силы Клейнмихеля в прошедшем царствовании, потому что, кроме благоволения за усердие, были еще причины близких отношений его к покойному государю. Самое начало его фаворитизма довольно загадочно.

Князь Иван Лаврентьевич Шаховской сказывал мне, что вскоре по восшествии на престол покойный государь объезжал новгородские военные поселения, и князь Шаховской ехал с ним в коляске, будучи корпусным командиром. Когда они подъехали к поселениям, то на границе встретил их Клейнмихель, начальствовавший тогда там. Завидя Клейнмихеля, государь сказал князю: «Вот еще аракчеевская собака». (Известно, что Клейнмихель был выведен в люди фаворитом Аракчеевым.) Несколько времени спустя Клейнмихель сделан был генерал-адъютантом, и вряд ли это назначение не было первым назначением нового царя. Как объяснить эту перемену? Дальнейшая карьера Клейнмихеля, кажется, тесно связана с карьерой Нелидовой. Некоторые говорят, будто он признавал своими ее детей и проч. Все это очень темно, но вообще нельзя не признать, что была какая-то таинственная связь между ним и покойным. Это особенно сделалось ясным после известной истории между Клейнмихелем и подрядчиком Лярским по расчетам за Киевское шоссе, в которой покойный государь, также по участию Нелидовой, принял горячо сторону Лярского, обвинил Клейнмихеля и до того был против него озлоблен, что все полагали, что наступил час падения Клейнмихеля, но не тут-то было. Сам государь приезжал к нему мириться, и он получил еще, быть может, более силы и доверия. Сам Клейнмихель ненавидел покойного государя, в этом удостоверили меня многие близко с ним знакомые. Не имея никакого образования, он даже не имел от природы никаких административных способностей и запутал дела не только казенные, но и свои собственные. Злоупотребления и воровство в его управление достигли колоссальных размеров. Не могу себе представить, как сдаст он счета, начеты и отчеты своему преемнику; не только подрядчики по построению Московской железной дороги еще не удовлетворены, но и за Зимний дворец есть еще много претензий, во время его владычества на него не было ни суда, ни расправы. Как-то будет теперь?

Говорят, что ему готовят великолепный рескрипт — это уже будет верх неприличия. Преемник его, сенатор Чевкин, имеет репутацию весьма умного и образованного человека. Общественный голос уже давно называл его при всяком почти вакантном месте министра, но его нарочно держали в черном теле и посадили в Сенат в 4-й Департамент, а граф Панин и тут заметил, что он слишком умен, и посадил его в герольдию⁵², где он и до сих пор сидел, занимаясь разбором старых формулярных списков. Про него обыкновен-

Первый том

но говорили, что он очень строптив. Это обыкновенно говорили про умных людей, которых по летам и по званию не смели называть коммунистами. Вообще я заметил, что общественный голос редко у нас ошибается в назначении людей на места, ежели немного к нему прислушаться, можно было бы действовать без грубых ошибок. Как бы то ни было, но одно первое и важное сделано, один внутренний враг обезоружен. Это хотя и много, но не все еще — много остается других. Дай Бог, «с легкой руки».

26-го октября. Городские слухи о рескрипте Клейнмихелю оправдались. Сегодня этот рескрипт напечатан в газетах. Вот он:

«Граф Петр Андреевич. Снисходя на просьбу Вашу и увольняя, согласно желанию Вашему, по расстроенному здоровью, от управления Путей сообщения и Публичными зданиями, Я с особенным удовольствием изъявляю Вам при сем Мою искреннюю благодарность за долговременную и полезную службу Вашу и за то неутомимое деятельное усердие, с коим Вы постоянно исполняли возлагаемые на Вас обязанности. Созданные под руководством Вашим, во время управления вверенною Вам частью, по указаниям незабвенного и вечной памяти достойного Родителя Моего императора Николая Павловича: постоянный мост через Неву, Николаевская железная дорога, по разным направлениям на значительном пространстве шоссе, электромагнитные телеграфы и многие другие не менее важные сооружения, несомненно свидетельствуют о заслугах Ваших, останутся вечными памятниками Ваших трудов. Оставляя Вас в звании Моего генерал-адъютанта и члена Государственного совета, я надеюсь, что и на этом поприще службы Вы будете продолжать быть, как и прежде, полезным Мне и Отечеству. Пребываю и проч. ...».

Общественное мнение оценило заслуги Клейнмихеля и выразило его в следующих двух^д стихотворениях, которые ходят по рукам и могут быть названы рескриптом от народа.

Прощание

Итак, сбылись заветные желания,
Прости навек, наш грозный падишах,
Благодарим за все благодеяния,
За седины в поручичьих чинах,
За ряд обид и мелких оскорблений,
Которые ты щедро расточал,
За глубину того уничижения,
В которое ты нас умышленно втолкал;
Ты дерзостно смеялся над искусством
И в нас убить хотел зародыш чувства,
Которого, слепец, ты сам не понимал.
Гордились мы своим образованием,
Почтен был прежде наш мундир,
Но, не поняв высокого призвания,
Ты всех в него бессмысленно рядил.

^д В тексте — только одно стихотворение.

1855 год

Ты в нас убить хотел сознание чести,
Лишь воровство и подлость поощрял,
Ты награждал лишь тех, кто подлой лестью
И рабской трусостью твой гнев предупреждал.
Плебей душой, плебей происхождением,
Ты историческим преданиям верен был
И приближал к себе всех тех, кто по рождению
Не имя громкое носил.
Тревожимый тщеславием невероятным,
Ты изменил религии Отцов,
Ты возмечтал, что Царь наш Благоверный
Твой род включит в ряд княжеских родов.
Но кончены счета. — Прощай, и Бог с тобою,
Ведь на Руси лежачего не бьют,
Мы не злопамятны. Да будет над тобою
Лишь Царский праведный, да Божий Грозный Суд.
Расстались мы с тобою, и слава Богу,
Опять за все тебя благодарим:
За Восиса¹, железную дорогу,
За то, что нет еще дороги в Крым,
За капитал, разбросанный в пустыне,
За все, чем ты хотел нас оскорбить,
Благодарим за то, что уж отныне,
Не будем мы тебя благодарить.

Эти стихи разноречат со словами рескрипта; на чьей стороне правда — нетрудно решить. Очень жаль, что правительство продолжает говорить не то, что думает, и не имеет храбрости действовать открыто. Какую же после того могут иметь силу рескрипты, данные за действительные заслуги?

4-го ноября. На сих днях, а именно к 7-му числу, ждут возвращения государя, который из Николаева поехал в Крым, был не только в Симферополе, но и на Северной стороне Севастополя и осмотрел все войска. Говорят, присутствие его произвело хорошее впечатление, да и для него самого поездка эта должна быть полезна, вероятно, он многое мог узнать такого, что он него скрывали здесь, и во всяком случае суждения его о нуждах края и армии будут основательнее. Великий князь в Крым не ездил, но возвращается прямо из Николаева по Белорусскому тракту. Кажется, решились не обманывать себя насчет будущей участи Черноморского флота, все постройки в Николаеве приостановлены до тех пор, пока война не решит, останется ли за нами Черное море или в какой мере оно останется, а до того команды, уцелевшие от севастопольской бойни, поступают в состав Балтийского флота. Видимо, что трудно

¹ Восис — американец, с которым Клейнмихель заключил контракт на ремонт железной дороги на 12 лет. Этот контракт был так невыгоден, что никто не мог понять, как можно было решиться его заключить. Об этом в свое время много было говорено (примечание автора).

было великому князю решиться на эту меру, но благоразумие взяло верх. По известиям из Крыма надо полагать, что все военные действия будут приостановлены по случаю наступающей зимы. Из Евпатории союзные войска отпраздновали, вероятно, на зимовку в Варну или Константинополь. В России продолжают радоваться на падение Клейнмихеля, и каждый день появляются стихотворения, более или менее остроумные.

Вчера слышал я следующее четверостишие:

Упал он. Упал он.
Никем не оплакан.
И как он, и как он
Окакан. Окакан.

В Петербурге начинают ощущать ужасный недостаток не только золотой, но и серебряной монеты, даже мелких бумажек трудно найти. Размен затруднен так, что на днях мне принесли сдачи из магазина на 40 копеек медной монеты. Это явление объясняется различно — говорят, менялы скупили всю мелкую монету и барышничают. Но, кроме того, есть другая, весьма важная причина — это вывоз серебра и золота за границу. Кредит бумажных денег, кажется, начинает упадать, хотя они еще ходят и принимаются по номинальной цене, но на серебро и золото уже составилась лаж⁵³. Кокорев в весьма дельной записке обращал на это внимание правительства и составил проект новых правил о золотопромышленности, который должен, по его мнению, развить сильно добычу золота и поддержать кредит бумажных денег. Этот проект был представлен государю, который приказал его рассмотреть в Финансовом комитете, который будет по порядку сноситься с генерал-губернатором Сибири и проч. и проч., одним словом, это дело, не терпящее ни малейшего отлагательства, отложено в долгий ящик.

Я послал эту записку Кокорева через Головнина великому князю, прося его прочесть и постараться ускорить рассмотрение важного проекта. Великий князь, прочтя записку, кажется, был поражен ею и послал государю, но государь успокоил великого князя, сказав ему, что финансы в России находятся в цветущем состоянии, что фондов более чем на 16-ю часть, требующихся для обеспечения бумажных денег. Это спокойствие государя насчет финансов России может быть причиною страшных бедствий. Неужели принимать меры, когда банкротство уже начинается? В записке Кокорева ясно изложено настоящее положение вещей, приведенные им факты согласны с действительностью, и они поневоле заставляют задуматься. Кажется, что только один министр финансов не задумывается, но это потому, что г-н Брок сам, вероятно, не понимает, почему он министр финансов, он никогда не мечтал быть министром финансов, никогда финансами не занимался, ученым человеком не слыл и опасности ни в чем не видит.

Весьма любопытна история его назначения в министры. В ней случай играет весьма важную роль, как вообще во всех назначениях прошлого царствования. Например, после смерти товарища министра внутренних дел Сенявина, который запутался в делах и зарезался, надо было назначить ему преемника.

Граф Перовский, бывший тогда министром внутренних дел, не думал еще о кандидате, ибо, вероятно, не находил себе еще человека безвредного. Однажды государь, при докладе, спросил его, нашел ли он себе товарища. Перовский, не ожидая такого вопроса, замялся; тогда государь сказал ему: «Я, впрочем, сам нашел тебе человека» и назвал какого-то Семенова или Степанова, не помню хорошенько (Щербинина), служившего правителем канцелярии у князя Воронцова на Кавказе. «Его, — прибавил государь, — хвалит Воронцов, и представь себе, что он приехал в 4 дня из Тифлиса». Эта рекомендация испугала Перовского, и он осмелился заметить, что рекомендованный государем господин моложе по службе некоторых директоров и что у него есть директор хозяйственного департамента Лекс, который тоже служил некогда у Воронцова. Государь сейчас же признал дельным возражения Перовского и тут же назначил Лекса товарищем министра внутренних дел, никогда его не выдав и не имея никакого понятия о его достоинствах. Стоит только взглянуть на Лекса, каков он был в то время, когда назначен, чтобы убедиться в том, что этот человек совершенный и д и о т и уже не способен ни на какое дело. Не знаю, каковы были способности того, который приехал в 4 дня из Тифлиса, и по сему подвигу не могу также заключить, хорош ли он был бы в звании товарища министра. Брок так же случайно был назначен товарищем министра финансов и так же попал после Вронченко в министры. Как часто бывало, брало меня раздумье в Английском клубе, куда обыкновенно летом приезжают обедать министры и товарищи их. Тут видишь Брока, Лекса, Сенявина — товарища министра иностранных дел, Норова — товарища министра финансов, Веневитинова — товарища министра Уделов, Илличевского — товарища министра юстиции и проч., и как помотришь на этих господ и послушаешь, что они говорят, то невольно спросишь себя: «Неужели это министры, управляющие Россией?». Да почему же, наконец, они министры, а не начальники отделения? Что же оправдывает их назначение? Знатность рода — нет. Ученость — нет. Богатство — нет. Литературная или какая-нибудь другая известность — нет. Специальное образование или опытность — нет. Так что же, наконец, они выражают собою? Ничтожность, ничтожность и ничтожность — вот и все. Случалось мне указывать на этих господ заезжему провинциалу, и тот верить не хотел, чтобы действительно фигура, которая так мало выражает, принадлежала какому-нибудь министру.

24-го ноября. Сегодня Бог дал мне сына Алексея, Дашенька родила благополучно в 4 часа пополуночи. Сперва не знали, как назвать новорожденного, — жена предлагала Николаем, мне хотелось Дмитрием, наконец, решили написать несколько имен, положили бумажки под образа и вынули одну из них, на которой было написано имя Алексей.

Я давно не писал записок, частью потому, что был занят, а частью потому, что боялся дома вечером писать, так как глаз мой все еще не в порядке.

Возвращение государя в Петербург не сопровождалось ничем особенно любопытным. От этой поездки ждали многого, хотя никто хорошенько не определил себе, чего именно. Но, кажется, польза состоит только в том, что го-

сударь личным присутствием в Крыму ободрил армию, но никакой новой мысли ни относительно военных действий, ни относительно внутренней администрации не проявляется.

Забава мундирами снова начинается и на это раз делается уже совершенно непростительна. Сегодня я провел вечер у великой княгини Елены Павловны, где была почти вся царская фамилия, кроме государя и императрицы. Великие князья были уже в новой форме, т. е. без эполет и с галуном на воротнике наподобие австрийских кафтанов. Всем чиновникам Военного и Морского министерства, следовательно и мне, предписано носить усы, чему я, впрочем, для себя очень рад. Кроме того, говорят еще и о других разных преобразованиях по мундирной части, всем военным, между прочим, разрешается носить в городе фуражки. Эта мундиромания становится, наконец, слишком серьезною. Вряд ли история какого-либо народа представляла подобное зрелище. Как будто Провидению угодно довести нас до совершенного изнеможения и для сего само накладывало повязку на глаза наших путеводителей. Сколько я ни добивался, ничего не мог узнать замечательного насчет пребывания государя в Николаеве, и это не потому, что хранилась какая-нибудь тайна, а просто потому, что ничего замечательного не было. Падение Клейнмихеля есть дело почти случайное, ему способствовал прибывший из Николаева Сергей Мальцев, который накричал так, что наконец обратили внимание на зло, которое давно заявлено всеми. Говорят, также императрица Мария Александровна писала об этом. Как бы то ни было, но верно то, что в падении Клейнмихеля нельзя видеть последствия новой системы или нового взгляда на вещи. Военные действия в Крыму почти прекращены по случаю зимнего времени, но что будет весной, об этом никто ничего не знает и, как будто, знать не хочет, ибо все-таки и до сих пор никакого определенного плана действий наших не существует и приготовительной деятельности незаметно. Паскевич умирает, носятся слухи, что на место его будет назначен Горчаков, а на место сего последнего — Лидерс. Будет ли от этого лучше — не знаю.

Великий князь Николай Николаевич помолвлен на принцессе Ольденбургской, дочери принца Петра Георгиевича. Об этой помолвке как-то странно объявлено в газетах в виде объявления, тогда как подобные объявления обыкновенно делались в форме манифеста. Уничтожение всякого этикета при дворе, начавшееся еще в прошлом царствовании, кажется, теперь окончательно совершается, но прежде этикет заменялся страхом и подбострастием, а теперь и этого нет. Приехала сюда на жительство королева Нидерландская, Анна Павловна, и присутствие ее, кажется, всех смущает, потому что она женщина прежнего века, держится строго всех правил этикета. Ее пример вряд ли подействует на других и способен ли восстановить отжившие формы, которые, впрочем, необходимы, ибо они охраняют двор от бесчинств и, с уничтожением их, разрушается все то очарование (*prestige*), которым должна окружать себя власть. Внешний этикет двора теперь мало-помалу исчезает, и странное дело, им тяготеют те, которые, казалось бы, более всех должны были стараться поддерживать его. Скандалы всякого рода при разных дворах делаются известными всей публике, о них судят и рядят везде и, таким образом, мало-

помалу теряют уважение к тому принципу, которого двор является представителем. Ежели бы не скучно было писать, я бы мог рассказать бездну анекдотов, более или менее скандальных, которые доказывают, что ежели прежде разврат при дворе был не меньше и даже больше, то никогда не был он так распушен, как теперь. Впрочем, об этом поговорю как-нибудь на досуге.

26-го ноября. Сегодня был выход по случаю Георгиевского праздника, и потом георгиевским кавалерам был обед. Нового ничего нет.

1-го декабря. Получено известие, телеграфическое, через Брюссель, что Карс взят. Дай Бог. Подробностей нет никаких, но, кажется, гарнизон сдался — был вынужден к тому голодом. Молодец Муравьев, много показал он характера и силы воли, не отошел, несмотря на неудачный штурм и появление Омер-паши близ Кутаиса. В наш бесхарактерный и вялый век стойкость и сила воли — редкие достоинства. Князь Меншиков будет на днях назначен главнокомандующим морскими и сухопутными силами в Кронштадте. Начальником штаба к нему назначается Путятин. Много шуму наделает это назначение, всех оно удивит. Мне же кажется, что, несмотря на ошибки и странное поведение Меншикова в Крыму, лучшего выбора сделать нельзя. Нет, кроме него, ни одного человека.

2-го декабря. Карс решительно взят, сегодня приехал курьер с трофеями. Крепость сдалась от голода. Это первое радостное событие в нынешнем году. Вероятно, по этому случаю будет выход. В городе теперь делает много шуму записка великого князя Константина Николаевича к Врангелю — управляющему Морским министерством — об отчетах. Копия с этой записки разослана по всем департаментам и подведомственным им учреждениям и тоже напечатается. Она действительно очень сильна. Все думают, что она написана с разрешения государя, но это несправедливо. Все министры принимают ее на свой счет, ежели бы это написать помягче, то, конечно, эффект был бы не тот и никто не обратил бы на записку внимания. Со всех сторон просят копии, и я боюсь, что это кончится какою-нибудь неприятностью. Уже теперь, как кажется, испугались того, что ее напечатали, и я получил сейчас приказание возвратить те экземпляры, которые я взял в Инспекторском департаменте для разъяснения в подведомственном месте во избежание переписки. Прилагаю при сем копию с этой записки, вот она:

«В одной весьма замечательной записке о нынешних тяжелых обстоятельствах России, при указании причин, которые довели нас до нынешнего бедственного положения, между прочим сказано: “Многочисленность формы подавляет у нас сущность административной деятельности и обеспечивает всеобщую официальную ложь. Загляните на главные отчеты: везде сделано невозможное, везде приобретены успехи, везде водворяется, если не вдруг, то по крайней мере постепенно, должный порядок. Взгляните на дело, посмотрите в него, отделите сущность от бумажной оболочки, то, что есть — от того, что кажется, кривду от правды или полуправды, и редко где окажется плодотворная польза. Сверху блеск — внизу гниль. В творениях нашего официального многословия нет истины. Она

затаена между строками, но кто из официальных читателей может читать между строками?” Прошу Ваше превосходительство сообщить эти правдивые слова всем лицам и местам Морского ведомства, от которых в начале будущего года мы ожидаем отчета за нынешний год, и повторите им, что я требую в помянутых отчетах не похвалы, а истины, а в особенности глубокого и обдуманного изложения недостатков каждой части управления и сделанных в ней ошибок, и что те отчеты, в которых нужно будет читать между строками, будут возвращены мною с большою гласностью. Прошу Ваше превосходительство разослать вышеупомянутым местам и лицам копии с этой записки. К о н с т а н т и н ».

Не привыкли мы слышать живого слова в официальных бумагах, и вдруг разом является этакий громовой крик. Вероятно, этот циркуляр разойдется по всей России мигом, и я уверен, что он всех порадует как признак жизни. Любопытно также будет узнать, что скажет государь об этом. Я боюсь, что станут придираться к словам, которые можно было бы заменить другими, например слова: «бедственное положение России» — и на этом будут основывать обвинения. Завтра узнаю, почему отбирают печатные экземпляры. Неужели испугались собственной храбрости?

4-го декабря. По случаю взятия Карса был сегодня выход. Тут узнал я, что государь получил от кого-то печатный экземпляр приказа великого князя и, вероятно, представивший его представил поступок великого князя в дурную сторону. Государь сделал великому князю сильный выговор за то, главное, что циркуляр получил гласность, ходит по рукам и читан был громогласно в Клубе. В обществе тоже про это очень много толкуют.

На выходе заметили отсутствие Австрийского посольства.

16-го декабря. Трудно себе представить, какая идет безалаберщина и в общественном мнении, и в действиях правительства. Политические дела наши идут как нельзя хуже. Вчера приехал австрийский поверенный в делах Эстергази и, говорят, привез ультиматум Австрии. Эта поганая держава опять начинает подличать, во всех газетах кричат об ужасных приготовлениях союзных держав против Кронштадта, и эти крики наводят страх на наших начальствующих лиц, между тем соглашаться на предложения Австрии, вероятно, будет невозможно, и, во всяком случае, я убежден, что это ни к чему не послужит, ибо война этим не кончится.

Англия решительно не допускает нас до мира, Нессельроде с компанией, со своей стороны, Бог знает, что заискивает. Во внутренней администрации тоже готовится какая-то перемена, но все это, кажется, без определенной мысли или плана. Из Вильны прогнали генерал-губернатора Бибикова и на место его посадили Назимова — попечителя Московского учебного округа. Скрипицына — директора Департамента духовных дел заменили Хрущовым — гофмейстером двора великой княгини Екатерины Михайловны. Это дело было последствием интриг немцев, нашедших опору в великой княгине Елене Павловне, и католиков, о которых хлопочет Нессельроде. В Рим назначен посланником Киселев, бывший в Париже и на деле показавший всю свою неспособность и подлость.

Отъезд Киселева в Рим остановили затем, что, кажется, собираются сделать какую-то приятную уступку папе, с какою целью — не понимаю.

Немцы и католики равно довольны назначением Хрущова, который человек сам по себе без убеждений, а ежели и есть в нем что-нибудь, то разве-де переварившиеся идеи цивилизации и либерализма, к тому же он будет в постоянной зависимости от мнения гостиных и придворной челяди. Со стороны немцев и католиков я предвижу сильные интриги, которые не добром кончатся. После Протасова наш Синод совершенно замер, и никто в защиту Русской церкви не в состоянии даже заикнуться. С некоторых пор кто-то распустил в городе молву, что меня назначают обер-прокурором Синода, со всех сторон спрашивают меня, правда ли это, и поздравляют. Не знаю, кто это выдумал. О приказе великого князя все еще продолжают говорить. В Москве от него, говорят, в во-сторге. Государь несколько раз повторял свой выговор великому князю, я боюсь, чтобы все это не смутило бы его. Вчера я передал великому князю маленькую статью, которую написал по поводу возбужденных циркуляром толков. Статью эту я прилагаю при сем. Не знаю, какое впечатление произвела статья моя на великого князя, но он велел снять с нее копию для себя. Поговаривают о смене Закревского и о назначении на его место Барятинского. В Москве разрешили славянофилам издавать журнал. Рядом с этими действиями видим и слышим вещи самые неутешительные. Решительно ничего нельзя понять, что и как и куда мы идем... Общую мысль из частных явлений никак нельзя вывести, поэтому следовало бы только записать отдельные факты, чем-нибудь замечательные. Буду стараться это делать.

20-го декабря. Статья моя о циркуляре понравилась великому князю. Он мне сказал, что много в ней правды. Головин поручил ее передать графу Орлову, с тем что не найдет ли он возможным представить ее государю, но граф Орлов нашел, что теперь уже поздно и лучше не напоминать о том, что уже, вероятно, забыто, тем более что теперь государь, вероятно, очень занят предложением мира, привезенным сюда австрийским поверенным в делах графом Эстергази.

Действительно, сильно начинают поговаривать о мире, с тех пор особенно, как приехали сюда граф Зебах, Нессельроде, поверенный в делах Саксонии, в Париже занимавшийся нашими делами с тех пор, как отозван посланник. Перед отъездом из Парижа Зебах имел долгую конференцию с Наполеоном. Об этом кричали журналы, и приезд его сюда действительно должен иметь какое-нибудь значение. До сих пор не слышать о том, в чем именно заключается данное им поручение. Говорят, все наши магнаты и сам государь склоняются к миру. Вообще рассуждают об условиях мира следующим образом:

1) Черное море закрыть для судов всех наций. Ну что же — это не беда, у нас теперь флота нет на Черном море, а ежели его сделать, то он все-таки никогда не будет достаточно силен, чтобы противостоять не только соединенным силам Франции и Англии, но и силам одной из этих держав, потому что нам надо иметь флот во всех наших морях, и нет средств держать его везде в таком огромном составе. Следовательно, флот и не нужен, а для охранения берегов достаточно иметь несколько корветов, катеров и проч. ...

2) От протекторства княжеств мы отказываемся в пользу Австрии, потому что наша претензия не доставила нам никакой пользы, да и не стоит из-за этого вести войну.

3) Об устьях Дуная тоже не стоит говорить, можно ли за клочок земли разорять целое государство и проливать столько крови.

4) Относительно христиан цель наша достигнута, потому что примут теперь все христианские державы меры, чтобы оградить турецких христиан от насилия турок, да и к чему нам это покровительство, когда мы не умели им пользоваться, когда его никто не оспаривал.

Наконец, предлагаемый мир, хотя неблагоприятен нам, но что же делать, мы должны терпеть наказание за свои ошибки. Во всяком случае, нам воевать невозможно против всей Европы и лучше мириться теперь, чем позже, ибо нет шансов, чтобы мы могли находиться на будущий год в лучшем положении. Конечно, мир этот будет непродолжителен, но все-таки мы успеем собраться с силами и приготовиться. Вот что вообще говорят в высших обществах о мире, но при этом многие изъявляют опасение, что вместе с миром пойдет у нас прежняя беспутница, начнутся увеселения, коронация, свадьбы, все уроки забудутся, и тогда опять пиши пропало. Я, право, не знаю, чего желать: и война без предводителя, хорошего войска и средств ни к чему хорошему не поведет, и мир при разрушительных началах, гнездящихся внутри государства, и при отсутствии всякой надежды на благоразумие правительства не представляет ничего утешительного. Одно только мне кажется, что, несмотря на все желание, на предложенных условиях мир не заключится, и до этого не допустит Англия, хотя сами и делают предложение, но найдут тысячу средств помешать миру. Не пройдет двух лет, ежели будет мир, что Россия будет в союзе с Францией и Англии будет плохо, она это чувствует. Впрочем, ничего нельзя гадать и предполагать, ибо нельзя определить границ бессмыслия, до которого может довести нас Нессельроде с компанией.

30-го декабря. На место князя Горчакова назначен главнокомандующим Крымской армией Лидерс. Горчаков, говорят, и весьма вероятно, займет место Паскевича, окончательно умирающего. На место Лидерса — Сухозанет, а начальником штаба к нему назначен князь Васильчиков. Одним словом, «барыня спросила весь туалет». Князь Васильчиков приобрел себе отличнейшую и весьма заслуженную репутацию в звании начальника штаба Сакена во время осады Севастополя, о нем все единодушно отзываются с восторженными похвалами. В благородстве характера его и храбрости никто не сомневается, но здесь он слыл прежде за человека с довольно ограниченными способностями. Но я теперь имею достоверное доказательство, что князь Васильчиков все свои блестящие нравственные качества соединяет с замечательным умом и способностями на деле. Я имел случай прочесть 2 его пространные записки, представленные государю, о состоянии нашей армии и о необходимости улучшения. Эти записки обличают в авторе необыкновенно светлый и практический взгляд на вещи; видно, что человек этот постоянно в продолжение всей своей службы рассуждал и умел частным, иногда, по-видимому, ничтожным явлениям давать

настоящее их значение и исследовать всякое явление до конечных его причин. Все меры, предложенные им, мне кажутся весьма дельными. Дай Бог побольше таких людей. Записка Васильчикова была прочитана государем, но, по-видимому, не произвела на него никакого впечатления, хотя она написана с жаром и с большим в некоторых местах увлечением. Нет никакого сомнения, что Васильчиков имеет много врагов и, во-первых, всех тех, кто считает его посредственным человеком, хотя они гораздо ниже его во всех отношениях. Я возымел непреодолимое желание познакомиться с Васильчиковым и исполнил это на вечере у великой княгини. Он скоро едет к месту своего назначения, а потому мне удастся ближе с ним сойтись.

Начиная с 1-го дня праздника, три дня кряду были во дворце выходы по случаю миропомазания невесты великого князя Николая Николаевича и помолвки его. На выходах этих ничего особенно замечательного не происходило. На одном из них военный министр князь Долгоруков, встретив меня, сказал: «J'ai quelques mots à vous dire»* — и потом, отведя в сторону, начал меня упрекать, что в отчете моем за 1854-й год, напечатанном в февральской книжке «Морского сборника», я выставил заготовительные цены Военного министерства в сравнении с ценами Морского министерства с целью показать, что у нас заготовление делается дешевле. «Кто дал Вам право, — говорил он, — печатать о распоряжениях Военного ведомства, между вами и нами никакого сравнения быть не может. У нас все делается в меньших размерах, и для какой цели сообщать публике вещи, которые ей вовсе знать не следует. Я знаю, — продолжал он, — что я с великим князем равняться не могу, он — великий князь, но я все-таки этого допустить не могу. Je sais, que c'est un partie pris chès vous d'incriminer mon ministère, mais cela m'est parfaitement indifferent et je suis au-dessus de cela. Je suis le premier reconnaitre, que nous sommes entourés d'abus, mais cela n'est pas une raison pour les signaler au Public. Dans les relation des Ministère à Ministère il y a des convenances à observer et il faut agir loyalement**». Я Вам повторяю, что мне все равно, я стою выше этого, но, не менее того, я вас предупреждаю, что я впредь запрещу сообщать Вам цены и проч. и проч. ...». Все это Долгоруков говорил тоном весьма важным, и в голосе его слышалась какая-то необыкновенная уверенность в своей силе и могуществе. Я решительно не мог припомнить, что именно у меня было сказано в отчете, и отвечал Долгорукову, что мы никогда не имели цели выставить свои цены в упрек Военному ведомству, но что это делалось для Адмиралтейского совета, который при утверждении торгов судит о выгодности цен по сравнению с ценами Сухопутного ведомства. Что в отчете моем, сколько могу припомнить, не были напечатаны сравнительные цены. На это он мне возразил, что не он один это заметил, что на днях Ростовцев пришел к нему просить разрешить печатать о том, что делает Сухопутное ведомство для своих

* Мне необходимо сказать Вам несколько слов.

** Я знаю, что Вы пытаетесь обвинить мое министерство, но мне это совершенно безразлично и я выше этого. Я первым признаю, что мы погрязли в злоупотреблениях, но это не повод, чтобы сообщать это публике. В отношениях между министерствами необходимо соблюдать приличия и поступать соответствующим образом.

Первый том

раненых, указывая на «Морской сборник», где печатается все, касающееся морских раненых, и что в нем печатается и то, что до Морского ведомства и не касается, и при этом он указал мой отчет. Придя домой, я сейчас же взял февральскую книжку сборника и нашел, что в моем отчете только в одном месте сказано, что, хотя цены на мундирные материалы были выше прошлогодних, но они были ниже справочных на 100 тысяч и Военного ведомства на 6 тысяч рублей. Весь же подряд простирался до 280 тысяч. Очевидно, что ссылка на цены Военного ведомства была сделана без малейшей цели укора, ибо о такой ничтожной разнице не стоило и говорить, тогда как по другим предметам, по которым, как например провиант, разница была гораздо существеннее. В отчете ничего не сказано и нигде о ценах Сухопутного ведомства даже и не упомянуто. Из этого я заключаю, что замечания Долгорукова были или личной его придиркой, или действием врагов великого князя, которые ищут все средства, чтобы обвинить его. Сам Долгоруков ненавидит, вероятно, великого князя, иначе и быть не может, а так как известно, что приказ великого князя об отчетах государю не понравился, то теперь все готовы пользоваться всяким случаем, чтобы, буде возможно, сделать пакость. Но, кроме того, видно, что Долгоруков в большой силе и чувствует это, иначе бы он не изменил своего обычного сладкого тона, говоря со мною. Его сильно поддерживает великая княгиня Мария Николаевна, которая враждебно расположена к великому князю. Во всем этом я вижу странные элементы раздора. Чья возьмет — неизвестно. Великий князь, до сведения которого я довел свой разговор с Долгоруковым и которому послал выписку из статьи моего отчета, на которую претендует Долгоруков, отозвался, что очень хорошо сделано, что выставлена разница, и жаль, что по другим статьям не сделано то же. Нашла коса на камень...